

Михаил Садовский
Прошлое без перерыва

Книга повестей



Михаил Садовский

Прошлое без перерыва.
Книга повестей

«Издательские решения»

Садовский М.

Прошлое без перерыва. Книга повестей / М. Садовский —
«Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-836937-7

В книгу известного писателя Михаила Садовского «Прошлое без перерыва» вошли написанные за последнее десятилетие пять повестей. События, происходящие в них, охватывают огромный период времени — от сороковых годов XX века до нынешних дней. Многие в повествовании совпадают с биографией автора, относящегося к поколению «детей войны», из которых позднее выросли шестидесятники, и поэтому всё описанное в книге обладает особой, порой документальной, достоверностью.

ISBN 978-5-44-836937-7

© Садовский М.
© Издательские решения

Содержание

Пока не поздно	6
Конец ознакомительного фрагмента.	47

Прошлое без перерыва

Книга повестей

Михаил Садовский

Технический редактор Лара Садовская

Корректор Наталья Долгова

© Михаил Садовский, 2017

ISBN 978-5-4483-6937-7

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Пока не поздно (повесть)

*Видно совушку по пёрышку
а сироту по одежке.*

*Сирота, что камень на распутье
никто не видит, как сиротка плачет.*

Русские народные пословицы

Когда по ночам одолевают сны на одну тему – с продолжением... Когда просыпаешься в полной темноте и не можешь ещё перенестись из далёкого далёка в реальную действительность, но, преодолевая сердцебиение, поднимаешь пудовые веки, беспомощно ищешь не положенные почему-то с вечера на тумбочку карандаш, тетрадку, чтобы записать (а вдруг повезёт!) увиденное... Когда потом целыми днями ходишь и доигрываешь, досочиняешь, досматриваешь, достраиваешь ночное видение – это верный признак! Значит, книга, дремавшая внутри тебя, зашевелилась, стронулась с места и уже не даст покоя, пока не выльется на страницы и не освободит твою душу от ещё одного... одного... одного того, о чём ты хочешь рассказать другим людям, живущим рядом. Может быть, кто знает, даже потомкам.

Ты не обязан это делать. Никому не обязан. Но не можешь не сделать. Долгие годы сочинительства подсказывают тебе, что сопротивляться бесполезно, и тогда измученный и уже утомлённый этой борьбой с самим собой, бросаешься к своим орудиям производства и начинаешь строчить, не успевая за собственной мыслью. Случается, что это вынужденное действие вызывает в тебе протест и отвращение, но нет сил противостоять ему. Нет. И по мере того, как описываемые люди оживают, начинают действовать самостоятельно, порой вопреки твоей воле, ты всё больше прирастаешь к ним, в кого-то влюбляешься, кого-то ненавидишь, но уже не можешь жить ни без тех, ни без других. И всё долгожданной становится раннее утро, когда все спят! Лишь за окном пробуждается жизнь, неспешно и неохотно, и напоминает тебе, что она – продолжение того, о чём ты пишешь, и иногда невольно вперебивку врывается на страницы. И всё быстрее, быстрее бежит рука, и всё роднее и роднее тебе твоё собственное повествование, которое освобождает тебя от груза многих лет, десятилетий. От груза, порой тяжкого и неудобного. Твой лучший собеседник и слушатель – страница! Она покорно впитывает всё-всё, что ты ей доверяешь, и не противоречит, и не потеряет ни строки, ни слова, ни запятой. И как же не хочется уже тебе с ней расставаться! Со всеми, кем ты населил её! Со всем, что с болью и стеснением ей передал! О, Господи! Продлись мгновение! Но, увы! Прощайте, мои дорогие однокашники, голодные малаховские мальчишки и девчонки, люберецкие и панковские ремесленники, тишинские беспризорники, московские детдомовцы, маленькие несмышлёныши из далёких краёв России, Украины, Узбекистана, Грузии. Уезжающие с новыми родителями далеко за океан. Прощайте, американские папы и мамы, обретшие новых членов своих семей и, надеюсь, вместе с ними – счастье.

Большинство из вас я никогда больше не увижу. И, «отписавшись», то есть переведя вас на страницы, возможно, всё реже буду вспоминать. Но всё равно ваши боли и надежды такой след оставили в моей душе, что никогда она не будет гладкой, обтекаемой для чужой беды и глухой к чужому стону.

«Фитит фитёк», как говорила моя маленькая дочка, под половицей. Этот сверчок – метроном моего внутреннего слуха. Рассвет тренькает тоненьким солнечным лучиком по разболтавшемуся в раме стеклу. Птица, сорвав ноту, чистит клюв с двух сторон о веточку и выводит утреннюю побудку чисто и радостно. Гремят ложки по дну быстро пустеющих алюминиевых

мисок за длинным столом в детдомовской столовке. Надрывается полуторка, выбираясь из очередной ямы в бездорожье. Плачет мальчишка, боясь покинуть свой детский дом, который вчера ещё проклинал. Гудки на захлавленной станции. Гнусавый голос дикторши в аэропорту, на непонятном языке объясняющий неизвестно что...

И запах сиротства и беды, от которого каждый пытается убежать...

Как и куда?

Для меня сейчас – в эту книгу...

Осенняя назойливая муха уже который раз ударялась о стекло, падала на крашенный подоконник, отчаянно жужжа, переворачивалась со спины на ноги и снова, бешено промелькнув от стены к стене, стремительно разгонялась в направлении окна.

Хозяйка кабинета молча, не замечая времени, смотрела на эти безумные попытки вырваться к свету и размышляла о своём. Она не занималась аналогиями, просто думала о своём, повседневном, что называли текучкой, потому что текло оно и текло изо дня в день. Река эта никуда не впадала, и плыть по ней можно было только в одну сторону – по течению. Зато, чем больше барахтаешься в ней, тем сильнее память стремится назад.

Накатывающийся гул поезда заглушил бесконечный полёт. Часто и тоненько задолдонил стакан на стеклянном подносе с графином воды... Сколько она себя помнила, он тут стоял и каждый раз первым оповещал о приближении поезда. Звонил вместо часов – поезда ходили точно.

«Это товарный, – ничуть не отвлекаясь, отметила она. – Раньше в три ровно проходил, потом на два тридцать спустили, а теперь-то... с этой перестройкой... Теперь-то уж время не проверишь!» – подумала она.

Состав загрохотал совсем рядом, за стеной зелени, отгораживающей близко стоящий к полотну дороги дом.

Она подошла к окну, распахнула створку. Муха вырвалась наружу и бесшумно исчезла в чаще полыни и рыжеющей крапивы... Пряный запах увядания ударил в нос и повлёк назад. Запах – самый сильный и верный поводырь в прошлое.

Когда она была девчонкой, они с Веркой здесь, в зарослях, подступавших к забору, у самой насыпи, прятали свои «секретики» в ржавом железном ящике без дверцы. Как он сюда попал, они не знали, может, скovyрнулся с платформы на ходу, и для чего его сварили из грубых обрезков железного листа, им было невдомёк. Но если засунуть руку по локоть в переполовиненную стенку под наклонной его крышкой, можно было уложить там в любом углу на сохранение, что хочешь: тряпичную куклу в самодельных нарядах, коробочку с выкопанными черепками, на которых остались следы золотых полосок и киноварь цветов чашек и блюдец, может, ещё царских, кузнецовских времён... Фантики от удивительных конфет, неведомо как попавшие к ним, сложенные в плоскую жестяную баночку из-под ландрина. На их потёртых боках с трудом можно было разобрать волшебные названия конфет: «Мимоза», «Ну-ка, отними», «Красный мак», «Раковые шейки»...

Фантики среди ребят ходили вместо настоящих денег, их можно было просто обменять на другие или получить конфету-подушечку, обсыпанную сахарными кристалликами, дольку сушёной груши из смеси, которая называлась «компот из сухофруктов»... Верка однажды за «Суфле» выменяла треть карандаша с шлифованными жёлтыми гранями и полуоблезшими золотыми словами, написанными нерусскими буквами. От очиненного конца возле грифеля пахло замечательным и незнакомым деревом другой страной, чужой жизнью. А здесь у них...

Каждый раз к осени стены в коридорах подновляли зелёной краской, двери и подоконники – цинковыми белилами, разведёнными пожиже олифой, чтоб хватило. Кто-нибудь из ребят обязательно прикладывался неосторожно к пахучей маркой поверхности, и тогда кастелянша тётя Клава орала на весь дом и двор: «Не получишшшь больше хформу, извергткх!»

Узять неггдя!». И ее «ггг» так необыкновенно клокотали в мощной груди, что могли поспорить со стуком вагонных колёс.

На самом-то деле здесь время шло медленно. Попросту отставало оно на окраине их городка, особенно тут, в детском доме, на стене которого только перебивали зелёную стеклянную табличку. «Детский Дом №3» – оставалось неизменным, а внизу, мелкими буквами, всё время меняли название ведомства, по какому он проходил. Да никто на это не обращал внимания... А она вот всегда думала-гадала: как это буквы на обратную сторону наносят? Красят что ли по трафарету? Так его ж надо весь наперекосяк вырезать. В зеркало, что ли, смотрят?

Это у неё с самого детства, как осталось так и не уходило. Не то, что она сообразить не могла, она сообразительная. «Ух, девка!» – это про неё так её матери докладывали. И по хорошему поводу, чтоб похвалить и восхититься, и когда жаловались, что нашкодила, чтоб только крутануть головой да рукой махнуть. Все, все замечали, не сговариваясь. Вот и выбилась в люди.

Она усмехнулась, отошла от окна и посмотрела на карточку в рамке на стене. Вот она среди ребят в третьем ряду, рядом Верка, и Люба с другой стороны. Аккурат над головой матери оказалась. Какой это год-то? Шестидесят шестой? Или седьмой... Мама, когда умерла?

Мысль её сбилась, перескочила и повела совсем в другую сторону. Всю жизнь её мать тут проработала. С нянечки начала. После войны замуж вышла, потом она, Ирка, родилась. А мать росла, поднималась в должностях, да и осталась тут – кормиться-то надо как-то. Отец ушёл за копейкой и – поминай, как звали. А дочь выросла при детдоме, с ребятами. И в школу тут ходила. Потом их перевели в городскую, с шестого класса. А мама до директора дослужилась. Теперь она вот на её месте оказалась. «По наследству!»

Она усмехнулась и одёрнула полы пиджака. Помедлила в задумчивости, высунулась из окна, притянула к себе створки, оставила их незамкнутыми и пошла к столу.

«Ладно, – произнесла она вслух и опустила руки на стопку папок. – Авось, повезёт. Оно всегда нас выручало – „авось“, – додумала она. – Просто, как живое. Или живой. Авось – мужик такой, мужчина, на которого положиться можно. Где он бродит?! Черт его носит невесть где? Да уж лучше так, чем какое-то – „оно“. Авось... Среднего рода – ни то, ни сё... Нет! Авось – это мужик! Авось, ну, шевельнись, шевельнись, помоги, давай! – Она улыбнулась, поглядела на себя в зеркало и покачала головой: – Э-эх, Ирина Васильевна, Ирина Васильевна, не живётся тебе, не живётся! Да уж ладно, что кому на роду написано!»

Так она неподвижно сидела, оперев на стол локти. Такой, значит, день сегодня выдался – задумчивый. Редко это случалось. Неожиданно муха снова ворвалась в комнату сквозь оставленную щель!

«Ну, надо же!» – хмыкнула хозяйка кабинета.

Муха, делая невероятные виражи, носилась по замкнутому пространству и то ли не могла снова найти вход, через который залетела, то ли не желала воспользоваться предоставленной возможностью. Она словно предвидела, что на дворе завтра польют дожди, туман под утро станет изморозью, потом холод и вовсе скуёт этот оцепеневший мир, и ей не будет другого такого тёплого и сытного угла, как за шкафом с личными делами детей в этом директорском кабинете.

«Хм! – усмехнулась опять Ирина Васильевна. – Надо ж!.. Все мы так – рвёмся, незнамо зачем, в закрытые двери! А как выход найдётся, рискнуть боимся! Хм...»

Повод для таких раздумий был нешуточный. На Пашку запрос пришёл. Вчера ещё Семён позвонил, и она почувствовала какое-то необычное волнение, что-то похожее на ревность шевельнулось и стало как наждаком изнутри драить, и под ложечкой засосало.

Чегой-то его вдруг? Ему уже шесть... почти! Таких больших усыновлять не любят, вообще-то. Да и привыкла к нему. Все привыкли.

Пять лет он у них, поди? Больше! Ему ещё года не было, когда перевели из дома ребёнка. И мать его она знала. Мать! Это название одно, что мать... Мать-перемать... Четырнадцать лет... Да, уже почти четырнадцать ей исполнилось, когда родила. Значит, с каких пор она к мужику в руки попала?

На улице росла – вот и попала. Мать – пьяница, отца и вовсе не видела, кто он был-то? Только что портки носил – вот и весь его облик. Может, здешний, тоже пропойца, а может, за бутылку мать кому проезжему услужила. И дочь так же, значит. То ли по рукам пошла, то ли кто сманил её, подкормил и приспособил, пока не понесла – тешился, а потом выгнал.

Она же с Настей в детский сад ходила. Потом они в разные школы определились. Да-да-да, почему-то эта Зойка в заводской район подалась. Далеко ведь! А жили они тут, по соседству, через улицу, и она попадалась иногда на глаза: рослая девка, красивая – чулочки со стрелочкой, беретка, каблучки. Ей лет двенадцать было. Ну, а как перестройка сюда докатилась, у многих жизнь перевернулась, да не у многих удержалась-то, скорее обрушилась. От вольницы мозги поплыли.

А мальчишку она прямо в роддоме бросила, и в графе «отец» прочерк оставила. Боялась, наверное, что отомстит ей тот, кого впишет – его ж тягать бы стали. Или откупился он. Отца нет, мать малолетка, от родительских прав отказалась. А потом она исчезла из города вовсе. Выписалась и через неделю исчезла. Всё. Милиция городская у себя в поиск поставила, а дальше её пропажу разглашать не стала – обычное дело. Не она первая, не она последняя. Чего шум поднимать? А вдруг объявится? И так бывает. Да ещё права качать начнёт: «Где мой ребёнок?»

Да, вот шесть лет почитай – ни слуху, ни духу. Пашка... Пашку жалко... А может, и повезло ему, что мать не забрала с собой и не изломала с первых дней всю жизнь. Что ему светило-то? А тут его все любят.

«Вот что! – она поняла, отчего так смутно ей на душе и скребет внутри. – Заберут – и всё! А привыкла. Раньше было даже подумывала себе его взять...»

Славный мальчишка получился и на вид, и характером. Только пугал иногда: как забьётся в угол и замолчит – всё! Не вытянешь слова! Любимым мороженым не заманишь. Сидит волчком, зубки острые, ротик щелью и глаза серые, как стеклянные, делались. Из-под чёлки соломенной смотрят в одну точку. Чего ему там в гены напустили? Не на трезвую голову его делали.

«Да... – протянула она про себя, – чтой-то я так с одного звонка поплыла? Может, и не возьмут ещё. А правду сказать: хорошо бы взяли! И ему хорошо. Всем хорошо».

Она оперлась руками на стол, встала и прислушалась: муха всё так же неумоимо носилась по кабинету.

«Ну и чёрт с тобой! Поганка! Вот привязалась!»

Ирина Васильевна стянула створки окна до конца, туго опустила шпингалет в закрашенное гнездо, повернула его в сторону, прислушалась и посмотрела на часы – это приближался скорый.

Пора домой. Она вышла в коридор и крикнула Клавдию, остававшуюся на ночь, чтобы предупредить, что уходит.

Старый дом потрескивал в любую погоду. Похоже, это про него сказано: ломит старые кости. Зимой в растрескавшиеся брёвна набивался снег, таял даже в крепкий мороз на прямом солнышке, вода внутри щелей застывала по ночам от лютой стужи, и лёд распирали стенки, в теснину которых попадал. Высушенные годами брёвна откликались и звук разносился по всему дому... Летом дом тоже трещал не хуже – то чуть проседал на фундаменте с одной стороны и кряхтел, как старик, опускавшийся на стул, то усыхал долго и неравномерно после весенних затяжных дождей... Да мало ли отчего кряхтит и охает всё на свете старое и солидно поношенное?

Но был в этом доме, а попросту сказать, старой двухэтажной избе, особый дух, состоявший из давних запахов, теплоты самих стен, набравших за долгие годы и слёз ребячьих, и смеха, пропитанных надеждами, горечью огорчений и радостью ночных снов.

Когда-то строил это жилище богатый купец для своей семьи. С большими гостиными, буфетными, бильярдными, спальнями и библиотекой, гостевыми и комнатами для прислуги. А подвалы приспособлены были и для винного погреба, и для кладовых.

Когда перевернули большевики жизнь в столицах, новое долго ещё катилось за Уральские горы да, наконец, и тут разлилось бездумным безобразием вольницы и беззакония. Купец, конечно, сбежал, прихватив лишь то, что меньше весило и больше стоило: золотишко да камешки – он ещё надеялся вернуться, видно, да не вышло.

Дом разграбили дочиста! Даже сукно с бильярдных столов пообдирали... Хорошо, что ещё красного петуха от дури не подпустили. Постоял он пустым недолго. Новая власть отдала его сразу под приют для беспризорников, а потом так и вышло по этой линии служить дому: недолго интернатом для ребят, вышедших из исправительной колонии, а потом уж детским домом... Большие комнаты перегородили – спален понаделали, на втором этаже решётки железные снаружи оставили, чтоб ребята не вывалились ненароком, а на первом снимали, обои переклеили, да новую грубую мебель завезли. Но неведомо как сохранился уют и жилой дух в этих стенах. И хорошо тут дышалось.

Может, ещё и невольная заслуга власти была в том, что назначали сюда начальствовать не комиссаров партийных в кожанках, а жителей местных. Сперва учительницу из села близлежащего, потом подряд несколько молодых, да видно, случайных людей – они не удержались. А следом, после войны – Волоскову, мать Ирины Васильевны. И проработала она тут до своей смерти. Умерла ещё совсем нестарой женщиной.

От неё остались в наследство степенность и основательность заведённых порядков, да дочь, которая похожа стала на родительницу всем: и лицом, и мыслями, и повадкой.

Каким образом возникают и распространяются слухи, даже в самом маленьком и незаметном скоплении людей, никто не знает. Любая солидная разведка заплатила бы большие деньги за толковое исследование по этому вопросу. Но весь мир обходится только предположениями.

Зинка остановила Пашку в коридоре у спальни. Она была старше на полгода и характером – не чета своему другу-тихоне.

– Паш, – поманила она его. – Тебя что, забирают? Только не ври, что не знаешь!

– Я, правда, не знаю, – испуганно пролепетал Пашка.

– Вот видишь! – укорила Зинка. Пашка удивлённо смотрел на неё, он не знал, что должен увидеть. – А пойдёшь? – Зинка пристально смотрела на него.

– Разве нас спрашивают? – тихо удивился Пашка, но Зинку это не устраивало, она должна была выяснить всё до конца.

– А хочешь? – начальственным тоном спросила она.

– Не знаю, – опять вяло отозвался Пашка и попытался уйти, но она снова остановила его.

– погоди! – теперь она держала мальчишку за рукав лёгкой клетчатой рубашки. – Тебе можно! – и, не дожидаясь вопроса, объяснила: – У тебя мамки нету! Тебе можно!..

– Разве так бывает? – удивился Пашка. – Чтоб без мамки?

– Бывает! – совершенно уверенно подтвердила Зинка. – Меня когда прошлый раз Поликсена Михална забирала на субботу, сама у неё по телеку видела, как дяденька объяснял, что теперь можно родить ребёнка без мамки, и никаких!

Пашка изумлённо смотрел на неё и ничего не говорил. Он привык верить Зинке. Она всё знала, но это как-то совсем не похоже было на правду.

Зинка прервала его размышления:

– А я ни за что! У меня мамка есть. Я помню, я ещё маленькая была, три года назад, она приходила, я помню! Не веришь? – набросилась она на Пашку.

– Верю, – отступил он совсем миролюбиво и сбил Зинку с тона.

– Она мне сказала тогда: «Доченька! Вот я поправлюсь и заберу тебя!» Понял?

– Понял, – согласился Пашка.

– Я ждать буду! – ещё раз повторила Зинка. – Ну, ладно, иди! Знаешь, – добавила она уже в спину повернувшемуся Пашке, – я тебе буду писать письма. Я уже буквы по печатному умею, так что почтальон адрес разберёт. Ладно?

– Ладно! – Пашка кивнул головой и поплёлся в спальню.

Зинкино сообщение о том, что бывают дети без мамки, ему очень понравилось. Тогда могло вполне быть, что никто его не бросал, и никого не надо ждать. А главное, тогда ни за кого не стыдно и врать не надо, что мама очень занята на работе, а папа в командировке далеко, и некому следить дома за ребёнком, а когда все освободятся и соберутся вместе, то заберут сына домой. А у Зинки другое дело. У неё же была ещё одна мама – не та, которая обещала её забрать, совсем другая. Она сначала была чужая, а потом стала её мама. Он помнил, как Зинку провожали все и подарки дарили, и даже Ирина Васильевна плакала, а потом Зинка опять вернулась, и у неё опять стала только одна мама, которую она ждала всё время. И теперь ждёт... А у него никого нет, и он никого не ждёт.

Зинка вообще недавно хотела убежать и никому не говорила, чтобы никто не проболтался, только ему – потому что они друзья. Просила, чтобы он не обижался, что она уходит, а его не берёт.

«Одной незаметней, легче спрятаться! Понимаешь?»

А он и не думал обижаться. Ему всё равно бежать некуда, а Зинкиной мамке зачем он нужен? Зинка сама говорила, что мамка её не насовсем отдала, а только пока поправится. Значит, болеет, а кормиться-то как?... Он бежать и не собирался.

В этом старом бревенчатом доме, много пережившем на своём веку, жила надежда. Одна, большая, составленная из десятков маленьких, и выразить её можно было коротко и понятно, одним словом: МАМА. Здесь всех женщин, а мужчин в доме не водилось, звали мамами. И каждый подраставший – то ли по традиции, то ли наслушавшись старших, а может, в силу генетической веры, – ждал, что настанет минута, и появится та единственная, которую он воображает, которая – никогда не виденная или начисто забытая, – снится по ночам с такими подробностями, что потом можно целый день вспоминать и рассказывать... А лучше про неё молчать, потому что становится обидно тем, у кого мамки точно нет, и они начинают обижаться, злиться, и даже драться.

Надежда уже много поколений была главным духовным продуктом в этой стране. Ею латали дыры в семейном быте, ею утешали голод тусклыми зимними днями в преддверии сладких радостей урожайного лета. Она помогала выстоять в неисходной нужде, двигала вперёд в «неравной битве», заставляла терпеть в беспросветные серые будни. Обещала, обещала, обещала. И, тысячи раз обманувшая, не исчезала и не умирала, а лишь наполняла столетиями выработанную мудрость, что она умирает последней. И этой огромной надежды, пополняемой миллионами обманутых, хватало на всё и на всех. И не было уголка ни в пространстве, ни в сердце, где бы она ни властвовала. Тысячи вер в сотни идолов и иллюзий вливались в неё и делали её незаменимой и непобедимой.

Когда это всё началось? Оказалось, на этот вопрос он не мог ответить. Может быть, потому, что возникло сомнение совершенно неожиданно. Так внезапно. Просто он прежде не задумывался об этом. И вдруг здесь... при всех... Что значит: при всех?! Как будто мысли обращают внимание на то, что вокруг происходит!

Он не мог оторвать взгляда от вошедшей пары! Мальчишке года три – не больше. Мамаша тут же уселась на стуле, подвернув под себя обе ступни и удобно устроив на них свой

аккуратный задик. Муж усадил сына и отправился к стойке. Мальчишка капризничал и что-то тихо канючил. Его чёрные волосы торчали на макушке густой щёткой, как у ананаса, и ещё растопыривались дрожащими проволочками перед узенькими щёлочками глаз. Лица его матери не было видно, лишь пшеничные модно растрёпанные волосы разлетались, когда она, опершись на локти и потянувшись через стол, что-то тихонько верещала сыну, и они золотисто сверкали на фоне его черной головы. Потом на эту картинку сзади медленно напозло бледное худое европейского типа лицо отца, и именно в этот момент в голове сверкнула молния догадки: мальчишку-то усыновили! Ну, конечно!

Собственно говоря, ничего особенного в этом не было, и почему именно в этот момент его как током ударило и отбросило далеко в семейную память?

У них в каждом поколении усыновляли и удочеряли. И – опять же: когда это началось? В армии генерала Вашингтона, когда они отступали перед англичанами на Бруклинских высотах, или когда победили на Валлей Фордж.

Говорят его пра-пра-прапрадед тогда, прямо под пулями, обещал умирающему другу не оставить его жену и маленького сына. И этот первый в их роду Вилсон, о котором дошла легенда, выполнил своё обещание. Он нашёл после войны вдову и решил на ней жениться, но не успел – она умерла в родах. А он оказался сразу с двумя детьми на руках – ни вдовец, ни отец, и самому ровно двадцать три.

Может, оттуда, от этих двух ребят, с которыми у него была одна фамилия, генетически пошло из поколения в поколение – усыновлять детей!

У него-то был кузен, сын отцовской сестры. Когда она умерла, отец прямо после похорон привёл мальчишку в дом и сказал им – сестре Сюзан и ему: «Вот вам брат! – помедлил и добавил, махнув рукой: – Родная кровь».

– Том! – окликнула его Дороти и прервала мысль. – Том!

Но он только поднял вверх палец и не вернулся из прошлого. Он видел, как Никколо вертел перед собой на двух полусогнутых руках тонкий до прозрачности блин пиццы. Тесто сначала купольно вздувалось медузой, потом мелькало, как извивающаяся осьмёрка, огромный блин плюхался на стол, мука прыскала из-под него во все стороны, он обсыпался, снова взлетал в воздух, как тарелка на двух палочках в китайском цирке!

«Причём тут китайский цирк? – Том откинулся на спинку стула и перевёл глаза на мальчишку. – А вот при чём! Мальчишка! Ну, и скачки делают мысли! Машина времени! Мальчишка-то китаец! Ну, явно! Китаец».

Наконец его взгляд опустился на стол, за которым они разместились своей семьёй: он, Дороти и три дочери – Кити, Мэри и Лизи. А рядом будет сидеть мальчишка, сын! Например, Ли или Сян.

Он улыбнулся, и напряжение сразу стекло с лиц жены и детей, следивших за ним. Хотя они и догадаться не могли, о чём думает Большой Том.

– Слушай, Никколо! – громко окликнул он человека за стойкой. – Ты принесёшь нам, как всегда: вайт, плейн и пепперонни!

– Ха, Том, ты спешишь сегодня? Расслабься! Неделя кончилась! – ясно было, что говорившие хорошо знают друг друга. – Всё уже поспекает! Ты лишь три минуты, как вошёл! А всё уже поспекает! Смотри! – он говорил весело, ловко перехватывал тесто, явно играя на публику, он видел, что из-за всех столиков люди любовались его работой и невольно улыбались. – Ияхх! – и готовый круг мягко спланировал на посыпанный мукой стол и, чуть скользнув от края к стене, замер.

– А ты знаешь, – обратился Том к жене, – мой дядя – двоюродный дядя со странным именем Джебраил – вернулся с войны с большим трофеем! Все тащили что-нибудь из Европы, и он не оплошал! Ты его видела один раз на нашей свадьбе – он теперь совсем старый: за девяносто перевалило, я думаю! А тогда в письме написал Дженифер: «Скоро я вернусь к тебе,

дорогая! И с большим подарком! Уверен: ты будешь очень рада!» А когда она ему открыла дверь, чуть в обморок не упала! Стоит её муж с двумя совершенно одинаковыми девчонками. Им было года по два! Что уж она подумала?! Наверное, заревновала!

– Почему ты это всё сейчас вспомнил, милый? – Дороти вслед за взглядом мужа повернулась к соседнему столику и поняла, откуда у него такие ассоциации.

– Он вытащил их из-под развалин дома, – Том говорил тихо, будто сам вспоминал, как это было. – Из-под дома, который обрушился на его глазах. Говорят, вытащил одну и уже собирался уползть с ней – небезопасно было, осколки, – но услышал какой-то писк и опять полез в подвал через осыпавшуюся дыру... Он вернулся со второй... Ни имени, ни родных... Дальше идти надо было, а девчонок оставить не на кого... Вот так и пошло-поехало! У них в батальоне женатых много было – ему все завидовали.

– И что?

– Ничего, так к слову пришлось. Тогда война была, – он снова повернулся к мальчишке и только пожал плечами. – А сейчас?!

– Она никогда не кончается, Том, – Дороти пристально смотрела на него.

Ночью ему не спалось. Он вспоминал, как познакомился с Дороти, потом шумную свадьбу.

Сам не зная зачем, встал и босиком бесшумно отправился наверх. Две девчонки спали, разметавшись на кроватях, точно как он, а чистюля Лизи – вся в маму, она даже спала как-то аккуратно, похоже, в той же позе, как заснула.

Из окна было видно, как где-то над чёрным разливом деревьев сверху вниз по незримой стойке антенны неумоимо сыпались красные огоньки! Он любил смотреть на них. Днём в ясную погоду еле прочерчивалась и сама ажурная конструкция, а ночью по глухой черноте неумоимо сыпались красные бусинки в необъятную вечность. Вдруг возникнув меж бледных звёзд, из черноты, по небу в разных направлениях одновременно заскользили огоньки трёх самолётов, и казалось, что все направились в одну точку. Они так быстро сближались, что Том затаил дыхание и замер, хотя понимал, конечно, что диспетчеры не спят. Он пристально следил за их полётом, а потом, когда они разлетелись, с облегчением провожал взглядом, пока огоньки не растворились в чернильном сумраке.

«Правда, правда... война никогда не кончается... большая, маленькая... и какая разница: кто с кем воюет... Разве малышу не страшнее, когда воюют всего двое, а он из-за этого остаётся один? Совсем один на белом свете...»

Решение внутри человека выстраивается, как сталактит в карстовой пещере: по капельке, по проблеску в сознании, по неожиданной ассоциации наплывает на один стержень мысли и застревает, наслаивается. Потом оказывается в этом образовании много лишнего, и оно смывается всё сильнее каждой удачной толикой, рождённой сознанием или почерпнутой извне.

Почему-то теперь чаще, чем прежде, попадались на глаза семьи с усыновлёнными детьми, и статьи, и разговоры об этом, и случайно выплывали адреса агентств, замеченные в газете. И ничего ещё не связывало ни его, ни её с этой проблемой, кроме любопытства. Да и между собой они не говорили об этом. Но вода камень точит, а время – самый удивительный скряга, копит всё: и нужное, и ненужное, и пустое. Кто знает, что потом пригодится? И какому обрывку жизни или слову, затерянному в годах, предстоит новая жизнь и великая благодарность за то, что это было, что с того самого мига что-то затеялось в вечном потоке и проросло на благодатной почве, и оказалось таким ярким и важным?

Вода камень точит... Тоненький ручеёк сочится в трещинке... Бурная река разъединяет скалы...

Решение пробивалось трудно и медленно.

Том ничего не говорил Дороти, но она чувствовала в нём какую-то перемену, внутреннее напряжение и внешнюю скованность.

Он давно и сильно переживал, что у него нет сына, и чем старше становился, тем сильнее мучился от этого. Ему с первого дня женитьбы хотелось, чтобы у него был сын, с которым можно будет так много интересного и важного успеть в жизни, который может быть другом – ведь он будет ненамного старше сына. Но через год после свадьбы Дороти подарила ему дочь.

Правду сказать, Том не расстроился: «Даже хорошо, что дочь, – уговаривал он себя. – Вот вторым родится мальчишка, а сестра будет за ним ухаживать. Это девочке полезно: с детства привыкать нянчить детей...»

Но Дороти снова родила дочку, и Том себя больше не уговаривал. Он решил, что третий будет обязательно сын...

Конечно, Дороти не виновата, что опять родилась девочка, но Том больше не верил, что у него будет сын, и это сильно угнетало его. Он с завистью смотрел на другие «смешанные» семьи, и невольная обида на жену отравляла дни, а потом и ночи.

Дороти чувствовала, что Том меняется, становится другим с годами, но разве могло быть иначе? И ласки его из страстных стали привычными и необходимыми, и слова не такими необыкновенными, и взгляды его на других она перехватывала, и это её очень обижало и настаивало.

«Мужчина, – говорила она себе и вкладывала в это слово все свои переживания и претензии. – Может быть, надо меньше крутиться с детьми и больше времени уделять ему? Дети вырастут и уйдут, а с кем я тогда останусь, если он станет чужим и холодным?»

Она знала, что Том мечтал о сыне, но разве могла считать себя виноватой, что в семью приходили только дочки?

С тех пор, как Том увидел в пиццерии усыновлённого мальчишку, надежда, что у них в семье может появиться Том-маленький, снова возродилась в нём и не давала покоя. Он всё прикидывал, как это будет, как это хорошо будет.

То ему снилось, что они вместе идут на бейсбол, то стоят не берегу озера с закинутыми удочками и ждут поклёвки, то вместе бродят по магазину и выбирают одежду для дальней поездки – шорты ему и себе, кроссовки, ветровку.

Но, когда он задумывался, как сказать об этом Дороти, грустнел. Выходило, что он не доверяет ей, если предложит усыновить мальчишку. Это должно быть ей обидно! Свой – это свой, и почему она должна любить другого... и сможет ли? А он? Он сумеет полюбить чужого, как своего? Том вёл с ней длинные разговоры по утрам, когда просыпался рано, но говорил в уме за обоих. Они были рядом, совсем близко, отчуждённые своими мыслями такими похожими, но даже не догадывались об этом.

А она перехватила его взгляд тогда за столом, и что-то будто толкнуло её в бок, пониже сердца. Она женским чутьём почувствовала, как совершенно необходим в их семье мальчишка, что если он скоро не придёт к ним, Том сам может уйти за сыном... Куда? Хоть на край света... Ведь он такой... такой... Она не находила слова, но знала: если её мужу, что запало в голову, он обязательно осуществит, и добьётся, и найдёт. А если другую женщину, которая родит ему сына?

«А может, ещё раз попробовать самой? Ничего не говорить ему... Разве мужчины знают, когда это случается! А вдруг снова будет дочка? Тогда всё. Тогда – конец».

Она это не могла доказать даже себе, но знала точно, что так будет. Он такой обидчивый и упрямый, она боялась даже в мыслях продолжать, что будет, если Том по-настоящему обидится.

«Нет, нет! Этого не должно случиться! Женщина обязана сохранять семью».

Дороти смотрела на своё отражение в зеркале и спрашивала: «Что делать? Да, скажи, посоветуй, что делать?! Десять лет мы вместе... И это заметно, что троих родила, – она повернула голову влево, вправо, подпёрла снизу ладонями свои груди, провела пальцами по морщинкам под висками у глаз. – А он всё такой же. Что она не видит, как на него заглядываются?»

Обидится – ничем не сотрёшь потом такую обиду. А, взять чужого! – кровь ударила ей в голову, и она почувствовала, как покраснела. – Что я, ущербная какая-то! Почему чужого!? И как его примут девчонки? И откуда его взять, и чей он? За что, за что мне такое?.. О, Господи...»

Она молилась истово и просила: «О, Господи! Услышь меня, Господи! Никогда ничего не просила, кроме здоровья мужу и детям, так дай же мне ещё одного здорового мальчишку и спаси нас всех!»

Теперь эта мысль о сыне стала постоянной и главной. Она догадалась, что и Том переживает и думает об этом не меньше, но не знала, как с ним заговорить. Только без фальши: юлишь – значит врёшь, скрываешь, а недоверие что хочешь разрушит.

Но ведь не в пустыне живут люди! Может, посоветоваться с кем-нибудь? Как быть?

Нэнси, школьная подружка, потягивая капучино, предложила сразу радикальные меры – сходить к ясновидящей и снять порчу. Обязательно снять порчу, а идти только к индианке, остальные – шарлатаны: незаметно у посетителя же выпытают, что и как в жизни было, потом перескажут и ошеломят, ничего не сделают, а только деньги сдерут.

Лилиан, сокурница по колледжу и бывшая соседка по комнате в кампусе, приехала специально из другого городка, выслушала исповедь и сказала, понизив голос и глядя Дороти в глаза: «Только не вспыхивай сразу, как ты умеешь. Смени донора – у вас несовместимость. Том ничего знать не будет! Ты что, не знаешь, как это сделать?»

Дороти не спала всю ночь и решила больше ничего ни у кого не спрашивать.

«Какие советы, когда Бог не даёт счастья?!»

Если оглянуться назад, на свою жизнь, каждый вспомнит, что случай повернул его судьбу. Скорее, даже наоборот: судьба поставила на жизненном пути случай, который обойти не просто, а «ищущий да обрящет» – сказано в Книге книг, и мудрость тысячелетий никогда не даёт сбоя. Надо только услышать. И поверить в неё.

Средней дочери – Мэри – устроили день рождения на общем празднике, где собирается много семей со своими гостями. За столиками сидело сотни две ребятшек разного возраста. Было, как всегда, официально весело, заорганизованно и безынициативно. Кричали все вместе и одинаково, отвечая ведущему, стоявшему у микрофона: «Кто счастливый за столом? – Мы счастливыми живём!» Мальчишки и девчонки хрустели «куками» и чипсами, прихлёбывали из бумажных стаканчиков сок и колу, болтали ногами до упора, со стуком: вперёд – носком в стол снизу, назад – пяткой по пластиковому выпуклому сиденью! От этой тряски жидкость выплёскивалась через край на стол, на нарядные платья и майки. Подумаешь! Родители улыбались друг другу во всю ширину неестественно ровных зубов. Большинство из них видели друг друга впервые, но детям было весело! Их смешливость передавалась от одного к другому, и все они оказывались в облаке радости на поле беззаботности и бездумья: дурачься, кричи, танцуй со всеми вместе, смейся ужимкам клоуна и подпевай неизменное «Хэппи бёздей ту ю!» десятки раз для каждого поздравляемого.

Когда Том и Дороти подошли к стоявшим в сторонке родителям, их встретили обычным щебетом: «Привет! Как дела? Как приятно видеть вас!»

– А где ваши детки? – радостно спросила их экзальтированная блондинка. – Я – Кэрэн, а мои вон там, видите: втроём в обнимку!

– А наши две девчонки там, в общем круге танцуют, а малышка Лизи – вот, за столом рядом.

Дороти увидела, как напряжённо всматривается Том в тех троих: два белобрысых мальчишки, наверное, погодки, держали за руки с двух сторон раскосую смуглую девочку их же возраста, они залиvisto смеялись и вдруг свалились на пол, не расцепляя руки.

– Что делают, что делают! Как им весело! – приговаривала новая знакомая, гордо обращаясь ко всем сразу.

– Это все ваши? – переспросил Том.

– Ну, конечно! – откликнулась блондинка. – Джек, Фостер и Джейн-Наиля. Мы решили сохранить её настоящее имя. Оно такое красивое!

– Настоящее? – удивилась Дороти.

– Ну, конечно! Она из Казахстана. Это далеко! Очень далеко! – теперь оба они, и Том и Дороти, обратили внимание, что в толпе ребятшек попадаются смуглые, раскосые, черно-волосые, совсем не похожие на стоящих группками родителей. – Здесь много усыновлённых детей, – внезапно перестав прыгать и улыбаться, продолжила Кэрэн. – У нас что-то вроде клуба усыновлённых. Собираемся вместе раза два в год, обмениваемся новостями. Тут из разных агентств дети. Из двух или трёх даже. Только ребята все из одной страны – из России, из республик... Какой ужас, что там всё развалилось! Вы не находите?

Но Том был настолько ошеломлён, что не знал, что сказать.

– И тут все семьи с усыновлёнными? – продолжила разговор Дороти.

– Нет! Нет, конечно! Ребята друзей приглашают, вы вот, как другие, пришли... Дети и дети! Весело, правда?!

– Здорово! Очень! – сразу откликнулся Том и постарался улыбкой стереть напряжение с лица.

«Бог привёл! – подумала в этот момент Дороти и обняла Кэрэн за плечи. – Теперь я знаю, как поговорить с Томом! – радовалась она про себя. – Всё будет хорошо! Теперь всё будет хорошо! Я знаю, я знаю...»

Сны редко посещали Тома, а может, просто не застревали в памяти.

Сегодня ночью он оказался в госпитале рядом с Дороти, лежащей на специальном столе враскоряку и стонущей так жалобно, что у него мутилось в голове от её голоса.

Вообще-то она рожала быстро и потом говорила ему с некоторой издёвкой и гордостью: «Ну, как? Ты очень измучался, милый? Правда, я быстро управилась?» Но сегодня сквозь её стоны, когда они стали громче и вдруг сорвались на крик, он вдруг явно услышал пронзительно-тоненький незнакомый голосок: «Не хочу! Не хочу рождаться мальчишкой! Не буду!» В этот момент все звуки стали ещё тоньше, слились в нарастающий писк, будто столкнулись в сужающейся горловине трубы и вырвались на белый свет уже откровенным детским уверенным захлёбывающимся плачем!

Том мгновенно оказался в сером сумраке надвигающегося утра. Сердце колотилось. Он рывком сел на кровати, не спуская ноги. Тишина оглушительно давила, создавая слишком большой звуковой провал со звенящим внутри него плачем. Дороти бесшумно спала спиной к нему, и его обидно поразило, почему она абсолютно спокойна? Как же так? Мог родиться мальчишка и вдруг не захотел.

Он чувствовал не утихающий пульс в горле. Казалось, даже кадык поднимается и опускается вслед за ним: вверх, вниз, вверх, вниз...

«Отчего это он не захотел быть мальчишкой? Отчего? Это я виноват? Почему? У нас в роду столько мальчишек. Хорошие парни вырастали всегда и в жизни не затерялись...»

Он зажмурился и упёр лоб в свои большие ладони. Перед ним в каком-то непонятном ажиотаже замелькали лица, с детства знакомые по фотографиям из альбома, хотя большинство из них он знал ещё и сейчас, слава Богу, живыми и здоровыми. Они почему-то все мелькали перед ним с бравыми улыбками. То в спортивной, то в военной форме. И подмигивали.

Сон будто продолжался, всё происходило с невероятной скоростью, и за каждым лицом в сознании мгновенно возникала биография, коротко сформулированная. Будто этот бесконечный альбом показывают гостю, который впервые пришёл в дом на вечеринку и которого развлекают семейным альбомом, пока соберутся остальные, и хозяйка позовёт к столу.

...этот ещё в Первую мировую погиб... а этот в Нормандии... это мой кузен, маминой старшей сестры сын, служил в Корее, отличный бейсболист был в колледже, но служить ушёл... а этот на подводной лодке плавал и облучился...

Всё! Всё!

Том крепко сжал голову руками и помотал ею из стороны в сторону.

Всё!!!

Он, чуть коснувшись, чтобы не разбудить, погладил жену по оголившемуся плечу: «Я должен тебе сказать об этом... всё хорошо... всё хорошо будет... вот увидишь...»

Это была его любимая присказка, так все в семье говорили: «Всё хорошо будет!» Может, с этим жилось легче?

«Как-то случайно всё получается! – нервничал он, сидя в машине и врезаясь в серое утро: – Делаю то, что первым на ум приходит! Советы тоже принимаю, не разбирая, что хорошо, что плохо. А кто знает, что выбрать? Случайная знакомая подсказала – и я за ней сразу! Глупо как-то... А может, так правильнее всего? Если её послушать – только так, как она, и надо поступать. А Дороти молчит, будто провинилась в чём, и это раздражает ужасно! И обидно, словно она укоряет в чём-то. А что, разве я виноват, что она одних девок рождает? А мальчишка... Хорошо бы был на меня похожим... Вот и пристань, откуда плыть надо! Значит, китайчонка не возьмёшь, как у тех, в пиццерии, да и язык... Причём тут язык?! Если мальчишка маленький, ему всё равно, на каком начинать болтать. Что человек с языком, что ли, рождается, он потом учится говорить-то! А вот лицо уже не изменишь... Ничего, можно и раскосоного, конечно, но лучше всё же похожего... Лучше бы никуда ездить, а тут своего найти... Что тут мало, что ли, детей брошенных? Но, говорят, что долго ждать очень. И дорого. Будто машину покупаю! – усмехнулся Том, и неожиданно мысль его переключилась: – Да, машину менять придётся, минивэн покупать, растёт семья. Кресло-то ещё осталось от девчонок или отдали... А машину менять надо. Тёмно-малиновую с перламутром и чтоб двери с двух сторон. Дороже не намного, а удобно очень. Особенно, когда с детским креслом возиться надо. Да ее послушаешь, эту Кэрэн, – мысль снова перескочила, – так выходит, что и правда, лучше России не найти... Далеко очень... И что я о ней знаю? А какая разница?»

Том почувствовал себя, будто на экзамене: подготовиться не успел и ни на один вопрос не знал ответа. В памяти всплыли слова Кэрэн: «А вы съездите в Бруклин, на самый юг – там одни русские! И магазины их, и рестораны. Вы на них можете посмотреть просто на улице, а не в новостях – знаете, очень милые люди».

«Пока бумаги делаются, да формы заполняются, ещё есть время подумать!» – успокоил себя Том.

Много детских домов в России. Ох, много... И такая жизнь вокруг, что с годами никак их меньше не становится. И похожи они один на другой. Очень похожи... Да и чем перебить неизбывный дух сиротства?.. А всё же в каждом своё что-то... И директор другой: там – Ирина Васильевна, тут – Наталья Ивановна, и «мамы» тоже непохожие, и дети.

Нина стоит у закрытой двери и канючит:

– Вась, а Вась! – она замолкает и засовывает что-то в боковую щель, но у неё ничего не получается. – Вась, а Вась!.. – голосок у неё тоненький и никак не может забраться на высоту, соскальзывает, как нога с обледеневшей ступеньки. – Я тебе пиченку принесла... – но из-за двери никакого ответа. – Тебе плохо?

– Плохо, – откликается невидимый Вася.

Нина оживает:

– Трындычиха ушла. Я теперь другой маме пожалуюсь. Она тебя выпустит.

– Не надо, – откликается Вася.

– Тогда расскажи сказку, и тебе не будет плохо.

Вася молчит. Он вообще немного заторможенный, и губа у него верхняя сильно клювом, а у Нины – ничего, нормально. Они близнецы, только Васе, наверное, «досталось от наркотиков», что мама потребляла, а Нина ничего, «проскочила». Это они не сами выдумали – подслушали. И ещё Вася иногда мочит простыни по ночам. Их даже разделить хотели, Васю в дом

для придурков отправить, но потом пожалели, ведь родные всё же, а больше-то у них никого на целом свете. Мамашу прав лишили, отца вообще никто не знает. Пожалели...

Только Трындычиха возмущается постоянно: «Набрали уродов, психов...» Вот и сегодня засадила Васю в туалет старый: «Опять обпысалсы – вот и живи в туалети!» Теперь она ушла, а сменная нянечка, дневная, Марфуша и воспитательница ещё не знают, что Вася взаперти.

– Вась, а Вась...

– Ну, что?! – наконец откликается брат. – Ты забыл про сказку-та?!

– Не забыл! Я думаю... – Вася тугодум. Зато он сказок знает много! И где их берёт?! – Ладно. Жил-был на свете Колобок, – начинает он гнусаво. Нина садится к двери спиной, вытягивает ноги и сосредоточенно слушает, она уже в сказке. – Не было у него ни папы, ни мамы. А были только дедушка и бабушка...

– Это неправильно! – прерывает Нина. – Бабушка по сусеку помела и спекла Колобок.

Вася долго молчит.

– Это другая сказка, Нинка, а если лучше знаешь, сама рассказывай... – он обиделся.

– Я тебе пиченку принесла, а она не просовывается, – чуть не плача, пищит Нина.

Вася снова долго молчит.

– Съешь сама, а то раскрошишь, и всё. Тут такая дверь – не просунешь.

– Вась, а дальше?

– Ты не перебивай. А были у него бабушка и дедушка... Нннну, Колобок был маленький и глупый, он покатился по дорожке и начал всех встречать... И зайца, и волка...

Нина знает эту сказку, только не хочет её до конца слушать. Там в конце всё так хорошо, что ей становится обидно, и она начинает плакать...

Но Васю обрывать нельзя, и Колобок всё катится, катится, пока не попадает в детский дом. Такой Теремок, где и Мышка-норушка, и Лягушка-квакушка.

Но дальше сердце Нины не выдерживает, она отталкивается затылком от двери:

– Ладно, Вась, я пойду найду Марфушу.

И пока прерванный Вася молчит и переходит из сказки в другой мир – реальный, Нина поднимается тяжело, как старуха, опираясь на руку, засовывает обколовшееся печенье в карман бумазеевого в линялых цветочках халатика и на цыпочках, мелко семена, быстро уходит. Но сказка в ней никак не кончается, и обида всё равно наплывает. Потому что Колобка находит бабушка и забирает его домой. Только не кладёт на окошко, глупого, а сажает за стол и кормит щами со сметаной... Тут от жалости к себе самой Нина начинает потихоньку всхлипывать и, не в силах больше идти, падает на колени, утыкается головой в угол и тихо безудержно плачет.

По закону близнецов разделять не положено. Да что закон – кому охота держать у себя такого, как Вася? Вот и стараются сделать: чем хуже, тем лучше. «Писается! В развитии отстаёт! А школа на носу, как он учиться будет? Надо его в спецкласс отдавать, а такого в их детдоме нет. Переводить придётся в специальное медицинское учреждение».

Это ещё не сформулировано на бумаге. Но письмо такое непременно появится. И сердце у пишущего не дрогнет – что он, первый такой что ли, Вася?

А пока Трындычиха, здоровенная толстозадая баба лет сорока, будет с наслаждением тыкать мальчишку искажённым природой личиком в мокрую простыню и тащить за руку в старый сырой с чугунным бачком высоко наверху туалет, которым никто не пользуется, чтобы провинившийся, насидевшись в тусклом свете и спёртом воздухе, осознал всю тяжесть своего очередного проступка.

Пока он был маленьким не так бросалось в глаза его сплюснутое с двух сторон лицо, ассиметричные глаза и как-то брезгливо-нелепо чуть-чуть приподнятая верхняя губа. Но потом отклонение всё сильнее стало проявляться, и если бы не Нинка... Вася безобидный, а Нина так трогательно берёт его за руку и ведёт за собой, что любое сердце вздрогнет от мысли разорвать

их. Ни от кого ему больше тепла не достанется в жизни. Никогда... Зато Вася на полголовы выше сестры, и когда кто-нибудь захочет её обидеть, ещё подумает, стоит ли.

Теперь такая жизнь пошла странная, игрушки совсем иные, телевизор цветной, и куклы другие. А в их доме всё чаще появляются какие-то люди, а потом кто-нибудь из мальчишек или девчонок уезжает с ними, и Вася с Ниной тогда уходят далеко в уголок двора, садятся там на сырую лагу старого забора и молчат. Они знают уже, что это Бабушка и Дедушка нашли своего Колобка, а их никто не находит. Вася ведь не дурачок, он заторможенный просто, а Нина его любит. Очень. Потому что он брат. Добрый, и на неё похож. Только лицо у него немного сплюснуто. Но он поправится, когда щёки потолстеют, и все увидят, что он очень красивый. И столько сказок знает! Он их сам придумывает и всегда добавляет чего-нибудь новенького. А что если, как Колобок, уйти из дома и покатиться по дорожке, и, может быть, тогда их начнут искать и станут спрашивать: «Чьи это? Чьи это дети?» Тогда вдруг объявятся Бабушка с Дедушкой. У всех ведь были Бабушка с Дедушкой. Просто все потерялись однажды, и теперь главное найтись. А их дом далеко стоит, в стороне от всех домов городка, за рощей. И зимой там не пройти, столько снега наметает, а весной ноги из глины не вытянешь, а до станции совсем далеко – через рощу, поле и весь город.

– Вась, а когда вырастем, ты мне новое платье, купишь? – Нина держит его за руку и пристально смотрит сбоку.

– Я работать буду, как папка, – неожиданно быстро откликается брат. – Шофёром.

– Откуда ты знаешь? – Нина разворачивается к Васе и придвигает своё лицо к нему так близко, что тот отклоняется назад.

– Знаю!

– Откуда? – не унимается сестра.

– Слышал.

– Что слышал?

Но Вася уже ушёл в себя и опустил глаза.

– Что слышал? – трясёт его Нина.

Она чувствует, что сейчас заплачет, потому что раньше никто никогда не говорил про их отца. Значит, он есть?!

– Слышал, как Трындычиха говорила: «Вот нашoferил двух поганцев! И поминай, как звали».

Нина уже тихо плачет и Вася, чтобы успокоить её, гладит по прикрытой бумазеевым платьем коленке и бормочет тихо-тихо:

– Я слышал, правда, слышал...

Вода камень точит...

Трындычиха стояла на широко расставленных ногах, чулки в резиночку буквально лопались от натуги на толстых икрах. Разъярённая и мощная, она заполнила кабинет и вдавила директора в кресло по ту сторону стола.

– Ты, Наталья Ивановна, не смотри, что я воспитательница простая! Што я хуже твоих образованных?! Я тебе так скажу: этот Кучин, Васька, значит, на детей влияет плохо. А запах какой! Ты не смотри, кто я, а слушай: его удалять надо, – с Трындычихой никто не связывается, она кого хочешь из себя выведет, и поддержка у неё мощная, как она сама. Говорят, её зад очень Алексееву приглянулся, а у него большая сила в их городочке. – Ты бы куда надо-то позвонила, что мы не знаем, как делается. Там бы бумажку написали с диагнозом, а у нас бы чище стало. Это, что ж, мы сучьих щенков холить будем!

Злая она, Трындычиха, а против злости что поставишь? И детей не любит. Своих нет, тоже, может, от злости, или от того, что себя сильно любит.

Наталья Ивановна смотрит в закрытую дверь: «Вот ведь прозвали! Точней и не придумаешь – Трындычиха! В телевизоре поймали, что ли? Ну что я скажу ему?» – перескакивает

её мысль, и она представляет сухое со впалыми глазами лицо Сиротенко. От него в крае усыновление зависит, с тех пор как стал депутатом. «У него и фамилия такая. Может, сам в детдоме вырос, незнамо чейный, оттуда и фамилия. – К нему ж не подступишься. И Ваську жалко. А Нина...» – она чувствует, как начинает ломить голову сначала в висках, потом выше, выше к макушке, и боль сползает к затылку, застревает там и нависает над шеей.

Три года она здесь, а как жизнь переменялась! Что она скажет ему: «Бумага всё терпит? Нет уж, лучше Трындычиху терпеть. Сколько получится... Наверное, она на моё место метит, больно уж агрессивная стала последнее время... Теперь всё просто – и диплом купит, и Алексеева сломает, с таким-то телом... А мальчишка... ему везде плохо... кто на него глаз положит... А так Нинка, может, ещё и приглянется кому».

Огромная страна лежала в тумане. На западе циклоны наплывали один за другим из Атлантики через Балтику. На востоке налетали остатки цунами, а между ними с севера спускался лютейший холод, наполняя воздух невидимыми в одиночку кристалликами, создававшими ледяную завесу всему сущему от любого, прижмуренного на резком морозном воздухе, глаза.

Солнце будто и не светило в этом десятитысячекилометровом коридоре, шириной от Северного полюса до Туркменских пустынь. Оно обходило его стороной и сияло на юге, где от него лица менее угрюмы, глаза всегда хитро прищурены и кожа смугла и туго натянута.

Сиротенко сидел в кресле и бессмысленно смотрел на сгущающуюся к вечеру серость изморози.

«Трудно, невероятно трудно дождаться следующего солнечного дня. Может быть, через неделю, может, через месяц. Зарыться с головой в постель, уйти, отключиться и не вспоминать, не вспоминать. А мысли именно и одолевают в такую пору! Им лишь маленький толчок, ничтожный повод, слово! Одно слово, звонок, название. Детский дом... И сразу наваливается всё прошлое, накатывает безудержно, как лавина, и никакая преграда не в состоянии сдержать это низвержение на тебя... А там, под толщей, засыпавшей и распластавшей тело и душу, бесполезно шевелиться – не сможешь, бесполезно звать на помощь – не услышат, бесполезно стараться даже думать о другом – не получится».

И почему это судьба устраивает?! Зачем? Если сам вырос в детском доме и вспоминаешь его не как страшный сон, а как страшную быль? Как один чёрный коридор, по которому ты идёшь не на еле желтеющий вдалеке свет, а во всё более сгущающуюся темноту с единственным желанием, чтобы она скорее тебя поглотила навсегда и избавила от постоянного унижения, от непосильных душевных мук, перед которыми даже непреходящий голод и вечные побои – ничто! «Змеёныш! Сын врага народа!» Они говорили, что яблоко от яблони недалеко падает, и были правы! Они всегда и во всём были правы! Кто? Они! Взрослые! Власть! И он ненавидел эту власть так сильно, что в любую секунду задыхался от ярости при соприкосновении с самым ничтожным её проявлением – вывеской, ступенькой, дверью.

Он ненавидел её с самого того дня, когда перестал по-детски, по-октябрятски любить... Вернее, с самой той ночи, когда забрали отца. Мать взяли через два месяца. А его не успела увести тётка от вездесущих энкавэдэшных глаз, и «змеёныша» сволокли в детский дом, потому что он сопротивлялся, кусался, орал – словно знал, что его ожидает.

Там он постепенно стал ненавидеть всех: директора, воспитателей, «контингент», т.е. своих однокашников, тоже попавших в беду. И растил это сжигающее чувство со своих семи до шестнадцати лет, когда его выкинули на свободу.

Это случилось сразу после смерти Вождя. Мать не вернулась, и никто не знал, где поплакать над ней. Отец очень скоро оказался дома и умер через два года, но за эти два года успел добавить столько к посеянному в душе мальчишки чувству, что всю оставшуюся жизнь Сиротенко не мог совладать с ним.

«Ты, Ванька, никому им не верь, – отец неопределённо обводил рукой круг, – они все бляди! Ни одному слову не верь! И дела никогда с ними не имей! Они не люди – так... шваль»

двуногая! И помяни моё слово: погибнут от своего же семени – наплодили Павликов Морозовых и ненависть в народ уронили!»

Отец однажды просто не проснулся. От него остались сапоги, новенькая телогрейка – носи и носи – и, главное, комната. Если бы не жилплощадь, не выжил бы Сиротенко. Не состоялся. Сгнил бы где-нибудь в лагере или на воровской малине, как многие его товарищи, выпущенные в белый свет на верную погибель. А он выжил и распрямился, и поднялся. И каждый раз, когда думал об этом, вспоминал единственного человека, которому, как выходило, был обязан всем этим, потому что дал ему в душе клятву – вроде мальчишескую, смешную, непроницаемую вслух, и оказавшуюся тем посохом, который поддерживал его в трудную секунду, когда дорога уходила из-под ног. А поклялся он Абраму Матвейчу, врачу в санчасти №3, что если выживет, непременно станет врачом, и сам тогда оплатит за всё добро, что от него получил, другим таким же бесприютным и обиженным, каким был сам. Такая вот, ни к чему не обязывающая клятва, о которой никто не знал. Никто.

Но Сиротенко, чем старше становился, тем серьёзнее к ней относился и, наконец, решил, что если не выполнит её – незачем ему жить на свете! И чем сложнее ему становилось с годами пробиваться из глухой провинции, из тьмы невежества и жестокости к своей цели, тем больше он ненавидел всех, кто мешал ему, а более – недодал в детстве. Даже фамилию настоящую у него украл, изуродовал его душу, исполосовал спину, истощил в самом начале пути запас детскости, который только и спас многих, живших в те же годы, но кому больше повезло.

Звонок Ирины Васильевны из «третьего дома» отбросил его в память, далеко назад, и он с усмешкой вспоминал, какие диагнозы вписывал Абрам Матвейч в его дело, чтобы вырвать к себе в «стацёнарь» и уложить на койку недели на две, а то и на три. Это были самые счастливые дни его детства! Самые тихие, сытные, книжные, пропахшие карболкой и хлором. Другие не выносят эти запахи – запахи больницы, а для него – они самые желанные, приводящие в сегодня неведомым путём из далёкого далека самое светлое, что было в его жизни!

«Ша унд рюйгх!» – тихо говорил Абрам Матвейч, прикладывая толстенький короткий палец к губам, а второй рукой подталкивая его в спину к койке. И когда мальчишка садился на скрипучую проваленную металлическую сетку, наклонялся к его лицу и выдыхал: «Обгемахт! Форштейст?!» И уходил, не стирая улыбки.

Это он, доктор Абрам Герпель, уложил его с диагнозом «острая дистрофия», когда шарили по всем детским домам, приютам и детприёмникам чтобы набрать положенную норму для специального детского дома, в котором содержали детей с умственными и физическим отклонениями, чтобы они не мешали остальным, во-первых, а во-вторых, для создания им «особых условий», от которых мало кто оставался в живых...

Что говорить! Если бы не он, так бы и замёрз Ванька на покрытом ледяной коркой глиняном дворе, к которому примёрзли кучи дерьма с застывшими в них белыми червями, когда всему детскому дому гнали глистов сантанином, а дети не могли присесть на очко, потому что все места были заняты. Это ж именно ему, Ваньке Сиротенко, директор поручил назавтра убирать двор: «Срезай эту нечисть, как мы всех врагов народа уничтожаем!» И Ваньку рвало так, что казалось, все кишки через горло вылезут наружу, и зеленоватая жижа, выпузыривавшаяся из него, застывала новым слоем над чужой белой.

И как он только угадывал, этот маленький доктор с одутловатым лицом, что Ванька Сиротенко дошёл до точки и, если его не забрать для передышки, хоть на недельку, то натворит он дел, натворит...

Не знал Ванька этого. Вообще ничего не знал про доктора, но более всего, его занимало, почему доктор с ним возится, даже, можно сказать, любит... Один и любит на весь белый свет...

Конечно, Ирина Васильевна ничего этого и знать не могла, когда первый раз обратилась к нему – Сиротенко – с просьбой помочь её воспитаннику. Бумага, о, бумага! Она всё стерпит. И диагноз вытерпит такой, какой человек не вытерпит. Она не загноётся, а человек оживёт...

Волоскова первый раз пришла к нему наугад, по слухам, и, конечно, не поняла, почему так легко всё получилось. Ведь с таким диагнозом никто из «своих», местных, российских усыновлять ребёнка не будет. А постановление, которое приняли, обязательно для всех домов ребёнка и детских домов страны: иностранцам можно отдавать на усыновление только больных детей. У них там медицина первоклассная, и деньги, и условия... Да только надо так умно славировать, чтоб и иностранца диагнозом не отпугнуть.

Конечно, она не могла знать, что всё, что написал тогда на медицинской карте ребёнка Сиротенко, состояло из тех же слов и букв, что его никому неизвестная клятва. И ещё она не знала, что совесть в этот момент мучает Сиротенко не из-за медицинского диагноза, а совсем по другому поводу: он размышлял о том, как хитро устроена жизнь, что сам он теперь принадлежит к власти, которую с детства ненавидит! Любую! Разве что изменилось? Стал тем, что всю жизнь ненавидит. Вот ведь в чём беда!

Он сам теперь решает человеческую судьбу – вот этой писулькой, вот этой подписью! И в этот момент толстые губы Абрам Матвеича совершенно отчётливо произносят ему в лицо «Обгемахт! Форштейст» И он, чувствуя, как горячая спина прилипает к рубашке, отвечает ему: «Обгемахт!»

Звонок Семёна означал, что он нашёл клиента и теперь подбирает ему ребёнка – обязательно мальчишку. По всему выходило, что Пашка самым подходящим будет.

Она Пашку любила. У неё за всех «своих» душа болела, но он чем-то больше других тронул её сердце. Любимчиков в детском доме заводить нельзя ни в коем случае, Ирина Васильевна это с детства знала, от этого таких проблем нарастёт – не будешь знать, как выпутаться! Но сердцу не прикажешь, а глаза сами его в комнате находят, и чуть дольше на нём взгляд задерживается... Может, потому что сама она тоже о сыне мечтала, да так вышло, что не смогла себе позволить ещё одного. Иногда мелькала у неё мысль: «А не забрать ли себе его?» Но никак это не получалось, поздно уж, кто его растить будет? Да и из своего детдома брать никак не нельзя – для остальных это такой удар, такая травма, на всю жизнь... Можно, конечно, его до конца здесь держать, под своим крылом, и опекать, и учиться заставлять, побольше внимания уделять, а потом, когда настанет время ему вступать на самостоятельный путь, забрать к себе... Да захочет ли? И что с ней тогда будет? Такое время настало, что лучше про завтра не загадывать... «Будет день – будет пицца!» – повторяла ей мать частенько из Священного писания, и только с годами осознала она всю мудрость и слов этих, и жизненных установок своей семьи во времена, когда по ночам исчезали люди навсегда, а ярлыки на шее весили так много, что сгибали человека в три погибели, и втыкался он навсегда головой в землю.

«Если б кому из местных или знакомых отдать? Да кто здесь захочет, в их глуши? А не найдётся никто – одна у него дорога: со сменой белья да несколькими сотнями в кармане из одного казённого дома да в другой. Там эки обучат. До конца жизни. А жизнь вся: от одной отсидки до другой... Он мягкий – устоять не сможет... Хорошо, что Семён позвонил... Он не спешит, основательно всё готовит, а когда созрело – подсекает... И не скаредничает, всех оделит... У нас без этого никак! – она вздохнула и остановилась в раздумье. – Надо у него обуви для ребят попросить снова из фонда этой сумасшедшей бабы американской, что померла, а всё своё состояние миллионное завещала только на обувь детям-сиротам... Сумасшедшая, сумасшедшая, а повезло, считай! Там такие деньжищи, что во всём мире всех сирот обуть можно! – мысли её бежали, перекрещиваясь, перескакивая со своего личного, на детский дом, на Семёна, да и вряд ли могла она отделить теперь свою жизнь от всего, что окружало её на работе с утра до вечера, и тревожило, и не давало спать по ночам. – Настя уж заневестилась, в пору мне внуков иметь. Бросить всё и сидеть их нянчить... В такие времена только глаз да

глаз за ними, чтоб в сторону не ушли, с колеи не сбились... Да и где она, колея эта? А уйти на покой, кто кормить будет? На пенсию подыхать? Нет уж...»

Ирина Васильевна вдруг резко поддёрнула рукав, посмотрела на часы и направилась к телефону-автомату. Она на память набрала номер и терпеливо переждала длинные гудки. Наконец, когда уже решила повесить трубку, там прозвучало сквозь треск и шорохи: «Сиротенко слушает...»

– Иван Михалыч! Вы никак уходить собрались?! Жаль!.. – сказала она вместо приветствия.

– Ирина Васильевна, вы, что ли? – отозвалась трубка.

– Я, я, конечно! Кому ж ещё! – весёлым голосом подтвердила Ирина Васильевна. – Слышите, Иван Михалыч, вы погодите маленько, не уходите, мне с вами поговорить надо!

– Срочно?

– Очень! Я сейчас на улице уже, до автобуса только, и в город – через час буду, – трубка молчала. – Алё, алё, Иван Михалыч, вы меня слышите?

– Да слышу я! – буркнуло в трубке. – Ты вот что... Да погоди, не перебивай! – он перешёл на «ты» и пресёк попытку возразить ему. – Ты домой иди. У меня машина в ваших краях возвращаться скоро будет, сейчас Фёдора выловлю, да за тобой пришлю. Так быстрее будет, раз срочно... Слушай, я давно спросить тебя хотел, да всё неудобно, а по телефону-то что, глаз ведь не видишь! – голос Сиротенко звучал теперь без хрипотцы, совершенно молодо. – Сколько лет тебе? А? Что ты всё никак не угомонишься? Ох, был бы я помоложе...

– Может, хотел сказать, была бы я помоложе! Чего лукавишь?! – тоже переходя на «ты» ответила Волоскова. – Ну, спасибо! – и она повесила трубку.

Разговор их в кабинете продолжился, будто и не было часового перерыва. За окном синяя мгла ещё не настолько загустела, чтобы скрыть чёрную непроницаемую стену дальнего запольного леса. Казалось, художник загрунтовал холст разными тонами и теперь раздумывает, какой более подходит ему, и что ляжет на него естественнее и яснее.

– Ты моего Пашку Лесного помнишь? – Ирина Васильевна задала вопрос и терпеливо ждала ответа, хотя знала его наперёд.

– Шутишь! – деланно возмутился Сиротенко и крутнулся за столом в удобном кресле. – Как всех упомянуть...

– Ну, неважно! Забыл... Я тебе рассказывала. Девчонка вместе с Настей моей ещё в детский сад ходила, потом в школе они учились вместе. И вот родила Пашку, понимаешь, когда саму ещё нянчить надо было.

Собеседник сосредоточенно слушал, хотя ясно было, что ничего из сказанного не припоминает, но готов сделать вид, что всё вспомнил. Он даже рот приоткрыл, чтобы сказать это.

– Ну, неважно, неважно... Ты вот что... Ты не можешь его взять в больницу к себе на время? На обследование.

– В больницу?

– Да, знаешь, мне позвонил...

– Погоди! – перебил её Сиротенко и резко встал. – Погоди! – он обошёл стол и остановился около Ирины Васильевны. – Пойдём, выпьем чаю! А то устал я что-то, – он взял Ирину Васильевну под локоть, за дверь в приёмной нажал какие-то кнопки на селекторе, стоявшем на столе ушедшей уже секретарши, и они вышли в коридор. – Вот теперь и расскажешь, – предложил он мягко. – Извини, так лучше, не в рабочей обстановке... Пойдём по двору погуляем. Больные в это время все по палатам.

– Мать у него – наркоманка и пьяница, в графе отец – прочерк. Никто не знает, кто он. Запугали, видно, девчонку по малолетству, а может, вправду, сама не знает... Здесь мальчишку никто не возьмёт, кому он нужен, а тут подходящий вариант, Семён звонил... Но ты же знаешь, как теперь сложно – мы ж только совсем больных за рубеж отдавать имеем право, которых

у нас не возьмёт никто... Чтoб не обвинили, что детьми торгуем... А там лечить умеют... Ну, вот, обследуй, пожалуйста, при такой-то наследственности у него что хошь найти можно... Он, и правда, какой-то заторможенный... И губа... Хороший мальчишка, что ему тут?..

– Всё сказала? – повернул к ней голову Сиротенко.

– Ну...

– А ты никогда не задумывалась, Ирина Михайловна, отчего у меня фамилия такая? А? Ну, ладно, я тебе как-нибудь в другой раз расскажу... Чтo ты на меня так смотришь? Нет, у меня оба родителя в положенных графах, и не алкоголики, а наркоманов тогда ещё и не водилось... Мне её власть подарила... Ладно, чегой-то я?! Понял я всё, понял. Только ты меня в другой раз, когда поговорить надо *срочно*, – он особо нажал на это слово, – ты меня просто на чай пригласи, ладно? Ну, пойдём, и вправду, выпьем чаю, или ещё чегой-нибудь! Чтo ж это я красивую женщину так встречаю!

Трындычиха сочиняла дерзко и вдохновенно. Она вообще любому делу отдавалась целиком – и душой, и телом. Тонкую шариковую ручку со всех сторон, как патрон дрели, обхватили пять коротеньких толстых пальцев, она вся подалась чуть вперёд над столом, потому что толстая рука загоразивала взгляду тетрадный лист.

«Эта женщина, с позволения сказать, мать, детей по дороге, как корова лепёшки роняет, – выводила она медленно большими круглыми буквами. Они не умещались в маленькие клеточки, и пришлось уже однажды начинать всё сызнова на другом листе, потому что строчки совсем налезли друг на друга. – А потом другие граждане страны в трудное время должны за её плодами ухаживать и воспитанием заниматься, что отнимает деньги у государства и населения, вместо прибавить зарплату и пенсии».

Тут она задумалась надолго. Ей почему-то вспомнилась её бабка, которая получала пенсию семнадцать рублей – старых ещё, брежневских. Всю жизнь в колхозе ломала, а пенсия ей вышла по старости вот такая. К чему это она припомнила, сама понять не могла. Всплыла в памяти такая картинка: бабка выводит закорючку в листе у почтальона Николая Петровича, а потом он ей отсчитывает рубли, ещё раз перекладывает бумажки, протягивает и произносит каждый раз одно и то же: «Смотри, Семёновна, не упейся!» Бабка молча принимает положенное и безнадежно машет на него крупной рукой: «Небось! Не впервой». Она не благодарит, не прощается, поворачивается и уходит с крыльца в сени молча.

Галина снова вернулась к своему сочинению, перечитала с самого начала: «Уважаемый господин...»

«Может, сразу президенту написать?» – усомнилась она. Но подумала, что до Москвы далеко. Письмо могут потерять, и читать там долго будут, а тут свои-то поближе и разобраться легче.

В том, что разбираться будут и непременно дотошно и скоро, она не сомневалась. Такое творится! Это что же будет, если и другие так?..

Надо непременно, чтоб в газеты всё попало, и выговор ей вынести. Публично! Вот ведь сука, небось, и не знает, от кого семя! Вахтовики едут – она за ними! То убрать, то постирать, а кто отец потом и не знает... Да и мужиков, как винить? Им там, на буровой, терпежу нету.

«Лучше всего в милицию, – решила Трындычиха. – У них и следователи, и прокуроры, и транспорт. А в случае чегой Николай подтвердит, я ж ему всё рассказывала!»

И она исправила крупно: «Начальник милиции». Пришлось опять всё переписывать. Но теперь она делала это быстрее, стараясь не вникать в слова, и чтобы получилось ровно и красиво. Потом она запечатала конверт. Крупно вывела «Начальнику милиции» и, держа его в полусогнутой руке перед собой, отправилась узнавать адрес на почту.

– Какой государственной важности? – с презрением отреагировал Николай на её рассказ. – Какой?! Мало идиотов, что ли, на свете, чегой ты лезешь-то?!

Это возмутило Трындычиху ужасно, она повернулась уходить и так и стояла в пол-оборота к сидящему за столом, а он никак не мог успокоиться:

– Ты подумай, ну, причём тут милиция? Ну? Что бабе, замок, что ли, на одно место повесить или часового приставить?! Так с какой стати?! Пошлёт она его куда подальше! Тебе зарплату дают – и работай! Какое тебе дело, чьи дети?! Теперь твои – ты и ходи за ними. А не нравится, иди в другое место! Теперь свобода и рабочих мест навалом! А то письмо писать! Поди, заведи! Небось, и адрес свой не написала? Анонимное?

– А вот написала! – мотнула толстым задом Трындычиха и показала Николаю язык. – Я тоже законы знаю! А милиция для того и есть, чтобы все жили правильно, понял?! Не заберу!

Так и поползло это письмо со стола на стол. Кто, читая, усмехался, кто задумывался, до чего довела жизнь их женщин! Никому не хотелось им заниматься, но оно чудом не затерялось и проросло совершенно неожиданно.

Долгая дорога не казалась изнурительной – столько нового отвлекало внимание от путевого однообразия, что время летело незаметно. Даже задержка местного рейса из-за снегопада в аэропорту со странным названием «Домодедово» не казалась тягостной. За огромным окном двухэтажного зала плавно и бесшумно плыли носатые лайнеры по белому бесконечному морю, при каждом их повороте казалось, будто они вынюхивают дорогу. Оранжевые снегочистилки выстраивались лесенкой и двигали перед собой белую гору, которая постепенно съезжала от машины к машине и выкладывалась ровным снежным валом вдоль бетонной полосы. Белое облако пара и снежинок клубилось над этой упорной шеренгой и неохотно оседало за ней на землю.

– Здесь всегда столько снега? – Кити повернулась назад к сидящим перед окном родителям.

– Говорят, в этом году зима особо снежная выдалась. А летом тут жарко, – объяснил Том.

– Как у нас, в Нью-Джерси? – Кити не могла удержать свои вопросы.

– Почти, – Том думал о своём.

Иногда странный холод в груди словно останавливал его непроизносимым вопросом: «Может, зря я всё это затеял? Бог знает, кому что положено... Кесарю кесарево... И если бы это только меня касалось... расходы... заботы... и главное, дети. Это сейчас они ждут – не дождутся. А вдруг не поладят? Хотя они, конечно, добрые и уступчивые, но это, когда просто играют с чужими час-два. А тут-то навсегда! Это не чужой! Он им брат... брат...»

– А что он любит, ты знаешь?

– Любит?

«Она это так странно говорит, будто на день рождения собирается к кому-то и спрашивает: что ему купить, что он любит?» – подумал Том и не сразу ответил:

– Вот ты и узнаешь! Для чего тебя взяли? Детям легче понять друг друга!

– Как же я его пойму? Он разве умеет говорить по-английски?

– Понимают вовсе не по словам! – вступила Дороти. – Слова часто... Ну, словами иногда сказать невозможно то, что сердце понимает... А английский он выучит быстро.

– А как? – не унималась Кити.

– Как? – Том даже почесал в затылке. – Да запросто! Он же не в гости приехал.

Том вдруг на секунду остановился и мельком подумал: «Уже приехал?! Вот как! Значит, всё верно!»

– Он же не в гости, – повторил он, – а насовсем! Понимаешь?

– Конечно, понимаю! – очень серьёзно подтвердила Кити и вдруг замолчала. Она чуть помешкала и, переводя взгляд с одного на другого, поучающе произнесла совсем тихо и внушительно: – Только вы никогда не должны ругать его! Никогда! Понимаете! Нас с Мэри и Лизи – можно! Сколько хотите! А его – нет! Понимаете? – она больше ничего не произносила и ждала подтверждения.

– Ну... – замешкалась Дороти и ответила, подавляя улыбку: – Ну, а если он что-то не так делает или ошибается? Замечание-то сделать можно?

– Ну, замечание... – поколебалась Кити. – Замечание, наверное, можно... Но лучше ты мне скажи, а я ему... А как по-английски будет Паша? – вдруг встрепенулась она.

– Паша, как говорится, и в Америке – Паша! – оживился Том и притянул дочь за руку к себе на колени. Он уткнулся носом в её щёку и забасил как буксир на реке: «Бу-ту-ту-у буту!» И Кити засмеялась таким счастливым смехом от щекотки и от того, что впервые смогла произнести имя «Паша», которое повторяла про себя всю дорогу, что у Тома невольно выступили слёзы на глазах. Он догадался, отчего так весело и беззаботно смеётся дочка, почувствовал, как спало напряжение, и знакомый голос прошептал ему внутри: «Всё будет хорошо! Всё хорошо будет!»

Ирина Васильевна встретила гостей приветливо и спокойно. Не первый раз уже приезжали за детьми из Америки, но каждый раз она с ревнивым чувством приглядывалась к новым родителям своих питомцев, кому её дети достанутся? Какие ни какие, а все они были свои. В повседневной спешке редко она уделяла им внимание, хоть и знала всех по именам. Директор – это большой завхоз: достать, обеспечить, отчитаться, выбить...

«Иностранцам и не объяснишь, наверное, – думала она, – как нам всё достаётся... Да и у них, небось, с неба не падает!»

Но когда случались праздники, и она слушала, как знакомые уже полвека песни выводят детские голоса, когда смотрела, как ребята отплясывают в хороводе, – это отодвигало вглубь суету будней и высвечивало улыбки детей – все они представляли совсем другими, своими, близкими. И она ловила себя на том, что вдруг в разгар веселья или шумной детской трапезы сердце её сжималось оттого, что, как ни крути, они здесь, у неё в детском доме и не побегут после праздника домой к маме и папе. А она хоть семи пядей во лбу будь, хоть наизнанку вывернись, ни мать, ни отца, ни деда с бабкой им всё равно не заменит. И часто такую тоску видела она в ребячьих глазах, что не могла в них смотреть и отводила взгляд.

Одно время уж совсем ей не по себе стало, когда опять не то, что деликатесов и нарядов не достать стало, а как в войну – хлеба не хватало. Решила она бросить всё и заняться чем-нибудь другим. Чем угодно. Только невоюет ей стало полуголодных детей видеть и у себя в детдоме, и по помойкам рыскающих в поисках съестного, и оборвышей бездомных, готовых на любую услугу, лишь бы копейку взрослые заплатили да покормили... И тут послали её в ознакомительную поездку, как бы на обмен опытом, поделиться достижениями в другую область. Нагляделась она там, наобменивалась, вернулась и решила: «Нет, не уйду. О себе думать, ещё раньше с кона сойдёшь. Всё равно столько лет тут оттрубила, что теперь не отрешешь – от себя никуда не денешься, и память заместить нечем, и станут они мне все, что столько лет со мной живут, сниться по ночам: что с ними стало, да кому они достались? Кто его знает, кого пришлют?.. Нет». И она осталась. Осталась и знала, что навсегда!

Поэтому она так ревниво и придирчиво осматривала приезжавших. А Пашка... Пашка – особая статья. Хоть и знала она, что ничего не изменит.

Может, конечно, если очень не понравятся ей люди, заартачиться и поперёк встать. Может. Да не станет...

Даже не в том дело, что в богатую Америку отдавала ребёнка, где и оденут, и обуют, и полечат – богатая страна, правда. Не это главное: в семью отдавала! К маме и папе! А когда материнским сердцем чувствовала, как рады её мальчишке или девчонке приехавшие забирать его, хорошо ей становилось и радостно.

«Какая разница, куда он едет! Лишь бы хорошо ему было! Раз в России обнищал народ сейчас, пускай хоть в Америку...»

Тому директриса показалась строгой и неприветливой. Они украдкой переглянулись с Дороти, а когда Кити ещё тихонько спросила: «Папа, почему тут так невкусно пахнет?» – настроение у Тома совсем испортилось.

Пашка дичился и не хотел подойти к ним, рта не раскрывал – хоть бы слово, чтоб голос его услышать, и даже от подарков, которые ему протягивала Кити, отказался. Так и остались они лежать на директорском диване в кабинете. Гулять он согласился пойти, только когда Зинка взяла его за руку и сказала, что сама поведёт по двору и на горку.

Его мальчишеский опыт был таким крошечным, ничтожным, а мужчин он видел так редко, что и сравнивать было не с чем. Да и говорили гости как-то совсем непонятно. Зачем ему такие мамка и папка? Он всё время смотрел то на мятую сплюснутую шапку на голове Дороти, то на руки Тома, поросшие бронзовой кудрявой, шерстью... И эта девчонка в каких-то синих штанах до шеи... Зачем они? У него есть Зинка и мама Таня, и мама Людмила Васильна, и главная мама Ирина Васильевна – зачем ему другие? Страшно остаться без своих! Как это? Он даже представить не мог... А чужие говорили, говорили всё время, и он не понимал ничего! Только тоненькая вертлявая тётенька всё время крутилась между ними, поправляла очки и повторяла ему какие-то слова про папу и маму, а кто она такая и почему она говорит это – совсем ему было не понятно.

По правде сказать, не удалась первая встреча.

Когда Вилсоны остались втроём, они долго и тупо смотрели на экран телевизора, где шёл по единственной программе какой-то совершенно непонятный не то фильм, не то спектакль. После часового сосредоточенного молчания, когда каждый по-своему пытался вытянуть из глубины и снова припомнить всё, что произошло за день, и решить что-то, Том вдруг произнёс:

– А мне мальчишка понравился! Правда, он симпатичный, Кити? – и всех словно прорвало.

– Ты не переживай, – успокаивала его Дороти. – Знаешь, у русских есть такая поговорка: «Первый блин комом!» – это мне наша переводчица Надя объяснила...

– А вы заметили, какие у него глаза? Какого цвета? – торжествуя спросила Кити, потому что наверняка знала, что ни мама, ни папа не знали.

– И какие? – откликнулся Том.

Кити помедлила, чтобы насладиться победой и выпалила:

– Голубые, как у Лизи! А вы не заметили! Как у Лизи, точь-в-точь!

Почему-то после этого всем стало вдруг легко и хорошо. Никто бы не объяснил, почему... Может, от упоминания о маленькой любимице всей семьи, а, может, от того, что, наконец-то, они увидели своего Пашу и не надо больше гадать, какой он и как их встретит... Уже встретил! И ясно, что у него такие же голубые глаза, как у Лизи!

А Пашка уселся в углу игровой комнаты на стульчик и прижимал к себе одноухого старого медвежонка. Если бы он мог перевести свои чувства и маленькие нехитрые мысли, получилось бы совсем простое житейское: оставьте меня в покое...

Ему было хорошо здесь. Привычно, понятно, тепло, сытно, а если кто-нибудь начинал задирать его в минуту, когда он задумывался, рядом сразу оказывалась Зинка. Зачем ему такие? Он не знал, что дальше... Америка была просто словом, он совсем не понимал, что это значит, а перед глазами его всё время светофорили ярко-рыжие густые кудряшки на руках Тома. Разве он может быть отцом? «Пахой папка!» – наконец сформулировал Пашка и успокоился.

Он положил медвежонка на полку, тянущуюся вдоль стены. Рядом с другими зверятами ему будет здесь хорошо, и он не убежит. В коридоре никого не было, сюда ребята редко забегали, с двух сторон были закрытые двери кабинетов: кастелянши, врача, директора...

Эта дверь как раз и открылась, и Ирина Васильевна оказалась прямо перед ним.

– Паша! – присела перед ним на корточки Ирина Васильевна и потрепала его ласково за плечо. – Паш, ты за подарками вернулся? Пойдём, я тебе их отдам!

Паша стоял, не шелохнувшись, уперев подбородок в грудь и прикрыв веки.

– Паш, ты чего же не отвечаешь? Там конфетки и книжка, и игрушка такая – кнопочки нажимаешь, а человечки бегать начинают... – но Паша молчал. – Паш, пойдём, а то у меня времени совсем мало! – Ирина Васильевна попыталась потянуть его за рукав, но Паша изо всех силёнок упёрся ногами и стоял на месте...

Оба они не знали, что делать. Ирина Васильевна распрямилась, и в этот момент мальчишечье лицо упёрлось в её живот, она почувствовала, как содрогается от плача маленькое тельце. Она снова присела, двумя руками чуть отодвинула его от себя, чтобы рассмотреть лицо и снова ласково и тихо спросила:

– Ты чего, Паша?

Тогда он поднял на неё полные слёз глаза и кривящимися губами прошепелявил так, что можно было лишь догадаться:

– Пахой папка... не хочу в Америку... не хочу...

Весело и шумно катались ребята на горке. Пашка сначала дичился в стороне, но, подхваченный Зинкой побежал рядом с ней, а когда с другой стороны оказалась Кити, почувствовал, как легко взлетает вверх по скользкому склону. Зинка вроде насупилась и заревновала, но такая весёлая забава чудом освобождает от всяких мыслей. Она уселась на картонку и крепко обхватила впереди сидящего Пашку, а сзади плюхнулась Кити, столкнула с места картонку, на которой они разместились, и все вместе в первый миг медленно, пока не перевалили на склон, а потом стремительно понеслись вниз, подпрыгивая и взвизгивая на каждой кочке! Они вдруг от этих прыжков и неровностей начинали клониться на бок, ещё крепче вцеплялись друг в друга и всё же неожиданно рассыпались, исчезали на миг в снежной пыли и, хохоча, останавливались, распластывались на спине и лежали, замерев.

Взрослые стояли в сторонке, переминаясь с ноги на ногу. Наверняка им тоже хотелось смешаться с ребятами и вернуться назад, в своё детство, когда в такие часы отступали и голод, и неустройство, и ребячьи, а порой и неребячьи, упавшие на их головы, заботы!

Горка! Волшебное место, вечное и нестареющее! Тут все понимают друг друга, все стремятся к одному и все получают безмерно радости, смеха, веселья, счастья!

Том и Дороти смотрели на ребят, переглядывались и ничего не говорили – и так всё было понятно: вот на горке катается Паша, их новый ребёнок, их сын, вместе со своей сестрой Кити, и ничего не надо больше решать и сомневаться – это само собой решилось, и неважно, сколько сомнений, огорчений, ступенек пришлось преодолеть. Теперь это навсегда!

Время шелестит листочками календаря. Этот сквозняк то сильнее, то медленнее. За закрытыми дверями кабинетов он скукоживается и лишь из поддверной щели сочится, чтобы согнать пыль в углы, закрутиться там и улечься. Перебили таблички, сменили мебель, и снова загустело время в кабинетах тех же хозяев.

Неделя пролетела для гостей незаметно, подчинённая одной задаче, и они решили её в первый же день: «Это наш сын!»

А Пашка всё так же дичился, без Зинки общаться с ними не хотел, а подарки получал через неё, из её рук. И голос он подавал редко... Но уже что-то новое можно было заметить в его взгляде: может быть, это было любопытство, может быть, часто повторяемые слова мама и папа разбудили в нём какие-то гены, без которых не бывает ни детства, ни семьи, ни счастья... Ведь существует же ген счастья? Иначе, как объяснишь улыбку родившегося малыша, не различающего людей, но улыбающегося той, что его произвела на свет?!

Пашка уже не убегал от Тома и Дороти, протягивал руку Кити, правда, за другую в это время его обязательно держала Зинка, а за столом, когда обедал и ловко орудовал ложкой, поглядывал исподтишка на проём двери, в котором маячили новые родители. Кити сидела

с ним за столом и тоже обедала, но ей было не успеть за Пашкой и другими ребятами, да и вкус того, что она подбирала с тарелки, был непривычным, чужим...

Она скучала по своему столу, по своей еде, по своим сестричкам, которым скоро, когда вернётся, будет показывать фотографии и рассказывать обо всём подробно и долго, и на вопросы отвечать, и фантазировать с ними, как это будет, когда к ним приедет мальчик Паша, их новый брат.

Когда сопоставляешь события, удивительно многое совпадает по времени. Это открывается неожиданно, и хорошо, если одно другому не мешает.

Письмо Трындычиха всё же в последний момент послала на другой адрес – по совету всеведущего почтальона. И копии в разные места отправила.

Как раз в те дни, когда Вильсоны приехали на смотрины, письмо доползло до кабинета Сиротенко и легло в отдельную папку, куда приходила неожиданная, неофициальная, необязательная почта – самотёк. Из этой папки конверты вынимались не часто, когда был просвет в работе, заседаниях, комиссиях. Но именно в эти дни до него дошла очередь.

Иван Михалыч с удивлением держал перед собой тетрадный лист в клеточку, испанский большими крутобокими расплывающимися буквами и продавленный с обеих сторон насквозь фиолетовой шариковой ручкой.

Он поморщился, прицепил скрепкой листок поверх конверта, с удивлением прочитал обратный адрес – обычно его не было у таких писем: «Из местных!» – машинально отметил он и отложил письмо в сторону. Но одна фраза так и застряла в его голове, именно та, которая Трындычихе, как ей казалось, особенно удалась: «... детей по дороге, как корова лепёшки, роняет...» Он повторял это снова и снова. От этих слов исходила какая-то искренняя боль и передавалась ему.

«Чёрт-те что! – думал он. – С чего бы эта малограмотная баба так печётся... Ну, кто знает, кто ответит... Кто приучил эту, самую читающую страну, ещё и писать... Доносы...»

Долго бы валялось письмо без ответа, если бы не Наталья Ивановна. Она почувствовала, что Трындычиха не успокоится, обязательно на неё писать будет, и рассудила, что рано или поздно письмо может попасть к Сиротенко...

Почему она так решила? Тогда она и набрала его номер...

Иван Михайлович никогда не рассказывал дома о своих делах, не делился с женой, потому что не хотел беспокоить её. Да и вообще: «Меньше знаешь – меньше скажешь!» – эту мудрость он усвоил навсегда не по своей воле в «хорошие» годы. Обычно он так темпераментно переживал свершившееся, что вовлекал в своё состояние всех окружающих, а под его напором они не могли не сопереживать.

«Ей и так хватает», – обычно думал он.

Сам же всегда расспрашивал, даже выспрашивал: как у неё дела в поликлинике, как теперь больные, которых она посещает, живут, как сводят концы с концами...

Сегодня был особый случай. В памяти всплывала полузабытая история – он неожиданно спросил:

– Мила, ты помнишь, твой отец рассказывал историю друга своего детства? Того, что после войны разыскивал детей?

– Детей? Мескин...

– Да, да! Мескин.

– А тебе зачем вдруг?

– Я же теперь народный избранник! – отшутился Сиротенко. – Должен всё знать про всех проживающих на территории, на которой может уместиться две с половиной Франции!..

– Франция-то одна только, милый! – ехидно перебила жена. – Где ж тебе ещё полторы-то взять?

– Действительно, где взять... – машинально повторил Сиротенко и уселся напротив слушать.

– Ладно, – Людмила тоже села. – Мескин потерял жену во время войны... Сарру... Её убили в гетто, а дети... Он, когда демобилизовался через несколько месяцев после войны, стал искать концы... Письма писал, в розык подавал и обнаружил дочку... Она в гетто не попала, потому что была в детском саду и выехала из Минска на лето... Детсадовских детей, слава Богу, успели вывезти... Немцы очень быстро наступали... А мальчишка был совсем маленьким, как раз перед войной родился, и Сарра успела его отдать соседям, когда её угоняли... Говорили, что он совсем не был похож ни на отца, ни на мать: белобрысый, голубоглазый... И эта женщина, которая его взяла, выдала за своего...

– И он у неё остался? – Сиротенко поднял на жену глаза, и она поняла, что это нечто большее, чем простое любопытство.

– Она погибла. Это точно... Её расстреляли... У них всю семью загубили немцы, кроме её маленькой дочки, да ещё Саррино мальчишки. Этих двух детей чудом, как говорят, успели увести в лес. Или сама мать почувствовала, что вокруг неё кольцо сжимается, и увела их. Не знаю... Потом из партизанского отряда детей переправили на большую землю, куда-то за Урал... Ну, это обычная история...

– Да, обычная, – задумчиво протянул Сиротенко. – Представляешь, что мы говорим: всю семью убили... дети неизвестно где... по детским домам – обычная история! Он искал сына уже по фамилии этой девочки, его названной сестры, да? Я так помню?

– Да, он, когда узнал обо всём, догадался, что у сына должна быть другая фамилия. И нашёл их где-то под Читой, в детском доме... Летал туда несколько раз... Вроде, по фамилии и обстоятельствам всё сходилось... Сходилось, но всё неточно... Вроде, какая-то украинская фамилия... Я уже не помню!

– У меня тоже украинская! – жёстко перебил Сиротенко.

– Может, достаточно? – вкрадчиво спросила Людмила.

– Нет. Давай дальше! – он сжал голову ладонями у висков и опёрся локтями на стол.

– Ну, в конце концов, он убедился или поверил, что это они, но сына опознать не смог... Шесть лет прошло, а малышу тогда и года не было... Девочку эту, Настю, названную сестру сына, он, понятно, и вовсе никогда не видел... А пока их искал, нашлась дочка в Биробиджане – она сначала была в детском доме, потом её забрала к себе семья, которая каким-то образом ещё давно знала родителей Сарры...

– Господи, какая запутанная история... – невольно воскликнул Сиротенко.

– Да, уж, можно подумать... – Мила осеклась, сглотнула комочек в горле и помолчала. – Он был большой такой мужчина, лётчик боевой, все четыре года воевал... Мой отец говорил, что после всех этих поисков его не узнать было: он усох, вроде меньше ростом стал... От переживаний...

– А ты его видела?

– Конечно! Но только уже позже, не в те годы... Я же не могу этого помнить...

– Слушай, Мила, а почему ты с его детьми не поддерживаешь отношения, если отцы дружили... Он же их всех собрал вместе, да?

– Как не поддерживаю... Хотя, конечно, могла бы быть более внимательной. Давай по порядку, сам поймёшь. Не сбивай! Всё оказалось не так просто... Рашель – Рахиль, его настоящая дочка, тех людей, что её забрали из детдома, стала сразу звать мама и папа. А когда объявился настоящий отец, началась ещё большая трагедия, чем была – у них два сына погибло на фронте. Теперь предстояло отдать Рахиль... Дядя Эдя был в отчаянии, понимал, что это старики доконает, они были старше его... А оставить дочку он, конечно, не мог... Да и к тому же, она стала вылитая мать... Ей уже около одиннадцати было... Или десять только...

– Ты так хорошо всё знаешь, будто это с тобой случилось!

– Я это столько раз всё слышала... И дядю Эдю очень любила... Он был замечательный...

И тётя Буся...

– А она кто?

– Дядя Эдя на ней женился после войны. У неё был сын Петя, а муж погиб. А когда дядя Эдя за ней ухаживал или предложил жениться – не помню уже, то рассказал всю историю с детьми. Потому что он не знал, что делать. И скрывать не мог, и взять никого в дом, пока сам не женится, тоже не мог... Ну кто бы с такой оравой был? Представляешь: сразу четверо!

– Послушай, эта история – роман писать!

– Скорее трагедию... Он, когда всё рассказал тётю Бусе, думал, что она откажется замуж выходить. Любая бы ещё подумала крепко, но она была мудрая женщина и, наверное, его очень любила... Он замечательный был... Я его помню ещё в лётческой форме, без погон только, грудь в орденах... Красавец! Это он в день Победы так одевался. А вообще-то, он учительствовал...

– Послушай, а кто её отец, тётю Буси твоей? Не знаешь?

– Это совсем отдельная история! У неё на свете осталась одна только тётка, когда родителей репрессировали. Эта тётка её воспитала с младенчества. Буся звала её не мама – «тётя» и без имени, а на самом деле, она, как оказалось, вовсе не родственница по крови... Не помню уже, как тётя Буся у неё совсем ребёнком оказалась... Эта Клавдия Ивановна жила в Москве... Со своим Моисеем... Они так и не были расписаны... Ну, я сейчас запутаюсь... Потом, не перебивай!

– Как можно запомнить родственников! Не понимаю! Мне вот повезло: запоминать некого!

– Иван, давай прекратим этот разговор. Я уже чувствую, чем он закончится: будешь дымить, как котельная, и глотать валидол... Скажи мне просто, что случилось? Ты всегда всё в себе носишь – это вредно. Я как врач тебе заявляю.

– Милый доктор! Как говаривали чеховские герои, милый мой доктор, ничего не случилось. Просто мне так хорошо, что я могу тебя слушать, милый мой доктор. Рассказывай дальше, я не буду задавать вопросов!

– Ага... Так вот, она всё устроила... Она была, как называл её дядя Эдя, Оазис... Знаешь, оазис в этой жизни, ты понимаешь... Она сначала поехала к Рахильке, дочке дяди Эди, и к старикам и сказала, что забирать у них девочку не будет, но она, Рахилька должна их называть бабушка и дедушка. Это как раз по возрасту подходило. Хотя дядя Эдя был старше Буси. У неё была, как тогда говорили, «жилплощадь» в Москве, и они туда переехали жить вчетвером...

– Постой, постой, откуда вчетвером? Как?

– Очень просто: Дядя Эдя, его дочь Рахилька, тётя Буся и её сын Петя!

– Ого!

– А потом они ещё забрали Гришу и Настю.

– Фантастика! Погоди, но они же обещали не забирать девочку у стариков!

– Они забрали – и не забрали. Так получилось, что на несколько месяцев разлучили из-за того, что детям в школу надо было 1 сентября...

– И что?

– Ну, тётя Буся детей отправила в школу – уже всех четверых! А стариков потом очень быстро в Москву обменяла! Они в это время как раз на пенсию вышли. Квартиру их в тьмутаракани на малюсенькую комнату в Москве, в пяти минутах пешком от дома, где они жили...

– Потрясающе! – Сиротенко даже вскочил со стула. – Просто потрясающе! Энергичная тётя Буся!

– Да уж! – подтвердила Людмила. – Но эта тётя Буся родила ещё Хаима... Ефима... Это их общий с дядей Эдей сын! И всех вывезла в Израиль... Как только дверь приоткрыли...

А Клавдия Ивановна и Моисей остались. Ему под девяносто было, он ехать отказался... Я им в Израиль писать в те годы не могла, и они не хотели – боялись мне навредить... Вот и всё.

– Теперь я точно спать не буду. Как время стирает детали... И они все живы? – Сиротенко смотрел на фотографию на стене, где они своей семьёй сняты вчетвером: он, Людмила и два сына, которые не захотели жить здесь.

– Дядя Эдя умер... – Людмила помедлила, хотела ещё что-то добавить, но понурилась и замолчала.

– Еврейские семьи всегда большими были... – Сиротенко перевёл взгляд на жену. – А мы вдвоём...

– Не надо навязываться детям! – она тоже перевела взгляд на портрет. – У нас хорошие мальчики... Всё, как ты мечтал, врачами стали... Но у каждого своя жизнь...

– Русские семьи тоже большими были... – продолжил Сиротенко. – Но раньше – до разора и войны... До войны и разора... – повторил он и замкнулся.

Письмо Трындычихи не давало покоя Сиротенко. Он не с чужих слов знал, как в хорошие годы насильно разлучали детей репрессированных родителей, знал, как это больно, бесчеловечно, такие были и в детском доме, где он рос. То, что предлагала эта «корова», как он её окрестил, хотя никогда не видел, разделить брата и сестру, тем более близнецов, бесило его и требовало действия.

«Гнать надо в шею эту сволочь подальше от детей! – он сжимал челюсти и желваки бродили по его скулам. – Неужели она не видит, сколько горя и боли вокруг?! Женщина! Хотя, теперь эмансипация – раздрызг во все стороны...»

Но невольно выплывавшая в памяти фраза из её письма, направляла его мысли совсем в другую сторону.

«Наверняка она что-то знает – не стала бы просто так писать: «... детей по дороге, как корова лепёшки, роняет...». А вдруг, правда? Надо проверить? Обязательно проверить! Да не только этих близнецов! Всех, кого отдаём, проверять надо... На всякий случай... И её, «коровицу» эту, заодно, да прежде всего... Кто такая? Ради чего суетится?»

Паша после отъезда американцев, стал совсем грустным. Зинка тормошила его:

– Ты скучаешь, Паш? – Паша молчал. – Я тоже скучаю. По мамке... Знаешь, Паш, если ты скучаешь, значит ты их любишь...

– Я не знаю... – вяло откликнулся Паша.

– А девчонка ничего, – продолжала Зинка и внимательно смотрела на своего друга, – не фикстула...

– Я не знаю... – одно и то же мямлил Паша.

– А она тебе будет сестра... – Паша смотрел на Зинку, ничего не произнося. – А раз сестра, ты её тоже должен любить... Ты не скучай... Они уехали, чтобы тебе игрушек закупить и приготовить обед...

Паша вдруг оживился:

– Мне уже два раза игрушки приснились.

– Вот видишь! – обрадовалась Зинка... – И ещё велосипед и обед – картошка жаренная с салом и мороженое... Много...

– Мороженое? – недоверчиво перебил Паша.

– Да. Очень большое в такой красивой миске с розой.

– В миске?

– Паш, ты что мне не веришь? Я в кино сама видела – в миске... И мальчишка там ел, и у него усы выросли! – Зинка громко засмеялась и замолчала.

– А потом?

– Что потом? – переспросила Зинка.

– Усы потом, что?

– Усы... Он их рукавом вытер, а отец ему оплеуху... – Зинка показала, как всё было. – Пашка даже отшатнулся и сжал губы.

– Но это же другой отец был! А твой добрый! Вот увидишь...

– Откуда ты знаешь?

– Ты что, мне не веришь? – возмутилась Зинка. – Которые детей забирают, все добрые, а то бы они не забирали, понял? А если не веришь, я вообще уйду...

– Верю! Я верю... – совершенно упавшим голосом сказал Пашка. – Когда они приедут? Зинка задумалась.

– Вот купят игрушки, кровать, ещё велосипед... Штаны не надо, штаны тебе здесь дадут... Потом приготовят обед, сходят за мороженым и приедут... Ну, ещё не скоро! – успокоила она Пашку.

– Я не хочу ехать, – тихо выдавил Пашка.

– Как? – Зинка так удивилась, что даже села на пол.

– А что я там один буду делать?

– Как один? Сестра Кити... И мама с папой...

– Они же не настоящие все... понимаешь... – Пашка тихо заплакал.

– Я бы тоже боялась... – шёпотом призналась Зинка. – Но всё равно бы поехала...

Зинка оказалась девчонкой практичной и прозорливой. Всё на самом деле происходило, как она придумала. Хотя до отъезда Паши было ещё далеко, и даже подтверждение из агентства, что с документами всё в порядке, не пришло, Вилсоны целую субботу во всю готовились к приезду нового сына и брата. Сначала спорили, в какой комнате ему будет лучше, а когда договорились – таскали шкафы, диваны, кровати... Том перебрался со своим компьютером и деловыми папками вниз, в бейзмент. А для Паши купили новую мебель: и на чём спать, и стол, и полки, и шведскую стенку – выбирали все вместе и снова спорили! Родители совсем растерялись от непрерывных вопросов и обращений: «Маами! Даади!» Девчачьи голоса не смолкали, спрашивали все трое, а когда родители совсем уж изнемогали, Китти, только что сама сгоравшая от любопытства, выступала с родительской стороны: отвечала, как могла, сёстрам – она же видела Пашу и играла с ним, и на снежной горке каталась...

Но дело было совсем в другом: «А что он любит? А пиццу он любит? А Скубби? А какого цвета у него глаза? А волосы? А он в штанах, или в шортах?..»

Вопросы сыпались вперемешку, и, чем больше было ответов, тем больше новых невыясненных вещей оказывалось, и даже маленькая Лизи тоже пыталась что-то своё пролепетать, хотя вовсе не понимала, о чём речь. Но к вечеру, когда все смертельно устали, а Лизи и вовсе заснула, мебель стояла в бывшем отцовском кабинете, джойстики мирно дремали на коврик перед телевизором, большой медведь пристроился на полке в углу и обнимал коричневыми лапами усевшихся у него на коленях маргышек, собак и ещё каких-то плюшевых зверей непонятных пород.

Когда дом затих в ночной темноте и первый сладкий сон сморил всех его обитателей, Том внезапно пробудился, ещё не понимая отчего! Он прислушался и уловил лёгкое поскрипывание лестницы. Казалось, что кто-то старается спуститься или подняться по ней так, чтобы она не откликнулась на шаги. Он тоже осторожно, на цыпочках, двинулся к двери и сквозь неширокую щель, из которой тянуло снизу свежим крепким воздухом, пытался разглядеть что-нибудь в темноте: «Не чужой ли решил проверить их дом?» Том затаил дыхание, но скрипа уже не было слышно. Он хотел было вернуться, решив, что это просто почудилось ему спресонок, но что-то подтолкнуло его вперёд, к площадке, где начинался спуск вниз. Он видел тускло сверкавший в отраженном оконном свете лак на ступенях, чёрную ленту перил и... Тут ему послышался шорох внизу, в той комнате, что они готовили весь день. Через две ступени, чтобы производить меньше скрипа, Том спустился, подошёл к приоткрытой двери и увидел,

как Мэри стоит в светлой ночной пижамке и устраивает на подушке застеленной Пашиной кровати своего любимца Джоя. Он замер от удивления: «Не может быть!»

Сначала, когда ещё безымянный плюшевый зверь появился в доме на день рождения Мэри, все решили, что это щенок. Девочка, так радовалась ему, что окрестили его Джоем, и он буквально стал её неразлучным другом. Ни днём, ни ночью они не расставались... Через год после этого случилась беда. Такие небывалые дожди обрушились на весь штат, что улицы покрылись водой, и через двор, где они жили, нёсся мутный поток с глиной, ветками, мусором, перевёрнутыми баками, вёдрами... Как попал Джой в эту бурную реку, никто не мог понять, но Мэри увидела его именно в тот момент, когда вода несла её Джоя мимо окна, из которого она наблюдала ставшую незнакомой улицу. Даже на крик у неё не хватило времени – она подскочила к двери, распахнула её и бросилась спасать друга! Вода мгновенно сшибла девочку с ног, завертела, ударила о забор и... она начала тонуть! Прямо тут же, около своего дома! Всё это произошло так быстро, что пока крик Кити долетел до Дороти, Мэри уже скрылась под водой! Мать ринулась в воду, крича: «Где? Где?» И через несколько секунд выхватила дочь, застрявшую в кустах и уже успевшую изрядно нахлебаться, но выплёскивавшую наружу вместе с водой лишь одно слово: «Джой! Джой! Джой!» Дороти пришлось вторично бросаться в поток и искать Джоя, который, к счастью, тоже застрял недалеко, в тех же, окаймлявших двор, кустах...

Когда друзья, наконец, соединились и, переодетая во всё сухое, Мэри сидела рядом с совершенно промокшим Джоем, стало ясно, что теперь никто и никогда не сможет определить, какой он породы и какого цвета. Но это нисколько не огорчало владелицу. Она ещё больше полюбила его с этого дня и теперь ни на секунду не отпускала от себя, а чтобы он не потерялся, надела на него вокруг туловища настоящие шлейки для маленькой собачки и прицепила поводок, в петлю которого на конце вдела свою руку. Теперь связывавший их чуткий сигнал всегда был у неё на сгибе у локтя.

Вот этого, неизвестной породы зверя, Мэри принесла в комнату своего будущего брата и устраивала на подушке. Петлю поводка она надела на торчащий в изголовье кровати шар, чтобы Джой, не дай Бог, опять не попал в какую-то неприятность.

Том замер, слёзы наполняли его глаза, и вся картина расплывалась перед ним, а когда они скапывали, он опять ясно видел, что Джой никак не соглашается остаться здесь в одиночестве, всё время скатывается с возвышения подушки, и Мэри что-то шепчет ему и снова устраивает поудобнее.

Когда, наконец, пёс все-таки решил остаться, Мэри поцеловала его и стала пятиться к двери, помахивая рукой. Том спешно отступил назад и, понимая, что не успевает незамеченным взбежать по скрипучей лестнице, сжался в комок и юркнул под неё.

Наутро всем любопытно было ещё раз поглядеть на вчерашнюю работу, и все, заглядывая в дверь, с удивлением обнаруживали на постели Джоя, который, видимо, не столько отдыхал на этой кровати, сколько стерёг её и ожидал хозяйку с нетерпением. Он же ничего не знал про Пашу! Все удивлялись, что Мэри с ним разлучилась, но никто ничего не говорил – всем стало всё понятно. И лишь маленькая Лизи прокомментировала обстановку: «А это Джой! Я его узнала! Он тут будет жить теперь, да?»

Чёрт его знает, почему Сиротенко поверил этому безграмотному письму, но оно вселило в него беспокойство и неожиданно вернуло к годам, проведенным в детском доме. Как ему тогда хотелось, чтобы у него кто-нибудь родной был рядом!

«Сестра, брат, – вспоминал он, – всё равно... Лучше, если старший... Когда близнецов Геку и Жеку Смирновых разлучили, что было? Гека удрал, через неделю, его поймали, вернули, он через две недели опять убежал, его опять поймали и, когда привезли обратно в детский дом, он сказал, что он Жека... «А где Гека? Куда брата дели?» – требовал предъявить! Позвонили в тот дом, куда брата увезли, а там подтвердили, что Жека действительно убежал,

и никто не знал теперь, кого на самом деле поймали. Различить их никто не мог! Тогда этому, пойманному, пообещали, что когда второго изловят, его к нему привезут, но этот Гека-Жека не поверил и снова удрал, как ни сторожили... Теперь ни в одном детском доме, ни в другом не было ни Геки, ни Жеки... – Сиротенко улыбнулся и вспомнил, как они обожрались макарон, которые спёрли на станции из магазинной коптёрки у раззявы сторожа – мешок целый. Ели эти толстые коричневые трубки всухомятку, неварёными. Все, кто участвовал в этом деле, через два часа залегли с животами. Все вокруг испугались, что у них заворот кишок может произойти, и давай их поить слабительным! Но Гека, когда наелся, решил попромышлять ещё. Где его носило? А Жека в этом деле не участвовал, сидел дома – они совсем разные были внутри, но лица – копия! Точная! Вот и влили эту глауберову соль Жеке, который за макаронами не ходил. Он орал, конечно, доказывал, что он другой, сопротивлялся – не помогло! Так и сидел на толчке за своего брата, да к тому же голодный! Где они сейчас? Одному ножом по щеке досталось потом... Кажется, Жеке... Так они специально длинные волосы отрастили оба, чтобы шрам закрыть... Вдвоём всегда прожить легче...

Диагноз диагнозом, а кто-то близкий для любого из детдомовских – это шанс выжить... Всегда одно и то же – в любое время... Мать с отцом у них судьба отняла, так, может, мы им поможем хоть какую-то родную кровь найти!»

Он долго думал, дымя без перерыва, и на самом деле никак не мог сосредоточиться. Мысль перескакивала с предмета на предмет, зацепляла совсем далёкое и вдруг переключалась.

«А кто теперь моим родной? Мишке с Николаем? Чего им дома не сиделось? Дождаться бы внуков... А эта... Кому внуков нарожала? Есть у неё мать, отец? Кучина? Кучина... – он посмотрел на остаток сигареты в руке – пальцам было горячо – ткнул его в полную пепельницу и вдруг неожиданно решил: – Раскопаю это дело и брошу курить! Вот-те крест – брошу!»

Почему-то от этого стало неожиданно легко на душе и совершенно понятно, что делать. Самому. Никому ничего не поручать.

«Ты же врач, вот и действуй, как врач!» – посоветовал он самому себе и взялся за телефон.

Сначала всё получалось так просто и логично: из детского дома прислали выписку на Кучиных Василия и Нину и копию характеристики на Сомову Галину Петровну. Нигде ничего необычного. У воспитательницы нет специального образования. Как она на работу попала? Ясно как – людей не хватает. А у малышей номер роддома, отклонения в развитии, диагноз...

«Номер роддома. Зачем мне номер роддома? Зачем?»

Из роддома тут же сообщили, что Кучина Зоя Сергеевна, второродящая...

«Вот так так! – Сиротенко почувствовал какой-то азарт. – Значит, у неё до этих ребят, ещё кто-то мог быть! Но по документам выходило, что по молодости вряд ли она могла родить кого-то до них... Запутанная история... Может, сама эта „корова“ что-то точно знает, – и он снова повторил её застрявшую в голове фразу. – А может, Кучина она по мужу?»

В памяти всплыло, как отец однажды сказал ему: «Род наш не прервётся, Ванька, мы в этих краях издавна, а фамилию ты не меняй, слышь?! Не тянись обратно к нашей... Может, потом, когда-нибудь... Ты что думаешь времена эти хорошие навсегда кончились, раз товарищ Сталин умер? Не верь! Запросто всё опять обернуться может. Не верь этой власти. А вернутся – потянет тебя фамилия моя в яму. Сиротенко так Сиротенко! Не в этом дело...»

Будто сейчас всё было: отец, сидящий на проваленном топчане и тяжело отдыхающийся после очередного приступа кашля. Его впалые щёки то проваливались, то надувались до половины, их коричневая морщинистая кожа резко светлела, растягиваясь и становясь гладкой,

отчего лицо приобретало совсем другое, клоунское выражение – глаза утопали в глазницах и тонкий нос проталкивался между двух шаров.

Через месяц звонков, писем, разговоров что-то стало проясняться, правда, плохо сходились даты, потому что эта Кучина не раз теряла паспорт, нигде не числилась и где была, никто не знал, а расписывалась, очевидно, так далеко от этих краёв, что расспросить кого-нибудь лично не представлялось возможным... Да и кому теперь было до этого дело!

«Раньше бы... – с сожалением подумал Сиротенко и вдруг ужаснулся этой мысли: – Раньше! Что со мной? Неужели это сладкое бремя власти и меня раздавило?! Раньше – это когда? Когда был сталинский порядок? Порядок, который меня в Сиротенко превратил?! Да, бросишь тут курить... Тут сопьёшься, пожалуй! Вот что...»

А месяца через два, когда ему показалось, что он докопался до дна, вдруг ночью, ухмыляясь и изогнувшись над ним, так чтобы упереться носом в его лицо, выпростался из тьмы вопрос: «А может, она сейчас ещё кого-нибудь наплодила?»

И первым делом утром, дождавшись «приличного» времени, он позвонил Волосковой: «Всех, всех проверяй теперь, Ирина Васильевна, – сказал он в конце разговора. – А без этой проверки ни одного дела не подпишу!»

Посреди долгой зимы случился дождь. Не дождишко из пролетавшей тучки, а настоящий, обильный, обложной. Он заштриховал серый день, как опытный ретушер. Сугробы осели, накатанные колеи превратились в ручьи с ледяными берегами, дороги осклизли – ни пройти, ни проехать.

Ирина Васильевна стояла у окна и смотрела сквозь туманный воздух на почерневшие продрогшие веточки, с которых срывались капельки набегавшей влаги.

«Зиме – шубку, весне – юбку, – почему-то неотвязно вертелось у неё в голове. – Зиме – шубку, весне – юбку...»

«Зачем Сиротенко затеял какой-то поиск? У Паши все бумаги чистые! Мать от ребёнка отказалась, и письмо есть, отца вообще ищи-свищи – всё равно найти невозможно... Да, честно сказать, и слава Богу... Всё равно, кроме неприятностей, ничего не получится... Объявится – начнёт вымогать да кобениться... А так: круглый сирота, диагноз какой надо, по инстанциям всё подписано, все решения, согласие усыновителей, все их бумаги – всё в порядке. Мальчишка бы уехал, а потом делай, что хочешь. Есть у него братья, сёстры, нет ли – какая разница? Где их искать? Зачем? Ни они его не знают, ни он их... До него она родить никого не могла – сама под стол пешком ходила. Если уж кто найдётся, то младше. А найтись вполне может. Только когда? Кто знает, где её носило, где искать по всей стране... Да на это ж годы уйти могут. Найдут – не найдут. Глупо как-то! „Пока не буду уверен, что у него нет ни братьев, ни сестёр, не подпишу...“ Сиротенко, Сиротенко... Стелет-то мягко, а если задержит дело, не отступится?»

Он нравился ей, она говорила: «Мужчина!» Для неё это было не пустое слово... Когда с мужем расходилась, самое обидное, что ему бросила: «Какой же ты мужчина, если женщину обижать можешь?» Сиротенко – мужчина! В нём какая-то самость есть.

«И что он про свою фамилию намекал?.. Да, ладно, чего беспокоиться?! Всё нормально будет! Собрались все бумаги, и он подпишет!»

Теперь выходило так, что на нём все концы сошлись.

«И на кой чёрт мне это надо! Работал бы себе и работал, и не лез бы никуда, и не пел бы опять чужие песни! А почему чужие? Когда мальчишкой был, терпел – деться некуда, а теперь-то сам себе забот напридумывал!»

Обычные житейские мысли лезли в голову, толпясь и сбивая друг друга. Что ребята уже выросли и не нужна им помощь, что дай Бог так век дожить, чтобы и у них не надо было одалживаться, что на жизнь хватает и зачем тогда лезть наверх, непонятно... Он всегда обращался к своей палочке-выручалочке – слову, которое дал себе, и всегда боялся, что однажды сфаль-

шивит, совсем чуть-чуть покривит душой, чтобы прикрыться своей клятвой. Он боялся этого больше всего на свете, потому что верил только одному человеку – Ивану Сиротенко. Случись ему отступить, – зачем жить тогда? А чем выше забираешься, тем труднее оставаться самим собой. Он давно это понял.

Что близнецов он разлучить не даст – это ясно, но если у них есть старшая сестра, о которой они и не подозревают? Можно её оторвать от них? Да они же даже не подозревают! Так что значит «оторвать»? Да не возникни эта «корова», никто бы ухом не повёл! Вот и Пашка тоже – уехал бы парень за океан и вырос там в любви и ласке, никто бы не ворохнулся! А так что? Ждать, пока проверят? Вдруг у него кто-то есть?! Не отдавать сейчас парня? Был уже такой случай: отказались от мальчишки, а он уже весь превратился в сплошное ожидание, он стремился к ним, к своим новым маме-папе... Даже, когда они не пришли, не поверил... И полетел... полетел на своей вере, но она не смогла удержать его так, чтобы он не разбился о землю.

Проклиная всё на свете, а больше всего себя, он тащился по улице, специально шаркая ногами, чтобы не упасть на скользком, и не понял сам, как оказался у шумящего и парящего кирпичного домика, присыпанного сугробами снега, посреди большого благоустроенного двора. Он всмотрелся, постоял, усмехаясь, несколько минут перед дверью и потянул за ручку.

В жарком помещении, заполненном тремя горизонтальными котлами, гудело, шипело, пахло маслом, горячим сухим железом и влажным свежим паром, который высвистывался тоненькой струйкой из каких-то трубочек. В дальнем углу в распахнутой рубахе сидел на стуле нога на ногу человек с очками, задранными на темя. Он обернулся на стук притянутой пружиной двери и попытался разглядеть входящего.

Сиротенко пошарил взглядом, глаза привыкли к сумраку, и тогда он медленно и почему-то боком, направился к столу по широкому проходу вдоль окна и труб, звонко потрескивающих и обдающих жаром.

– Здорово, Федор! – хрипло сказал он, протягивая руку.

– Ё-ё-ё! – почти пропел сидящий, не вставая и не шевелясь.

– Сколько лет, сколько зим! – не прокашлявшись, продолжил Сиротенко. – Жарковато, однако...

Повисла пауза. Только гудели топки котлов и шипел пар.

– А я всё никак отогреться не могу! Ха-ха-ха! – булькая, засмеялся Фёдор. – Никак! В детдоме-то мы вместе намёрзлись, так ты, видать, потом отогрелся, а я всю жисть всё мёрзну, мёрзну – то в зоне, то в тайге этой грёбаной... – он замолчал и стал искать сигареты. – Ты чё пришёл-то? По делу или так, навестить, вдруг? – усмехнулся он, выпуская первую затяжку.

– А не знаю, – мрачно ответил Сиротенко. – Шёл, потом смотрю: стою перед дверью этой, – он мотнул головой назад.

Фёдор оторвался от спинки стула, пригнул, чуть повернув на бок, голову и пристально уставился в лицо стоящего.

– Ага! – он будто что-то разглядел. – Садись! – приказно произнёс он и указал глазами на ещё один стул с рваным сидением, из которого торчали выплески грязной ваты. – Не замараешься?

– Да хрен с ним! – махнул рукой Сиротенко.

Фёдор посмотрел на круглые часы на стене и, как о давно обещанном, напомнил:

– Счас выпьем!

– А тут можно? – наивно спросил Сидоренко.

– Можно! – криво усмехнулся Фёдор. – В России выпить всегда и везде можно... Не бойсь, эта хрень не взорвётся... Тут автоматика-кьебернетика... И сменщик через двадцать минут заступит... Вахту сдал, вахту принял... Ты, Вань, чтой-то расстроенный какой-то, как полинялый... Нет?

– Есть маленько! – откликнулся Сиротенко, стащил с себя наполовину пальто, но вдруг опомнился.

– Слышь, Фёдор, я пойду тогда возьму чего-нибудь...

– Не надо! – остановил его Фёдор. – Всё есть! Спокойничек! Как в кино, помнишь? «Будь спокойничек!»

Он встал со стула, и Сиротенко профессионально отметил, что у него спина ссутулилась, в пояснице он не разгибается и...

«Чёрт!» – оборвал он свои диагнозы внутренним голосом.

– Ты, Вань, не просто так пришёл, ты не обижайся... Ты мне тогда так помог... Выручил, можно сказать... Я никогда не забуду... Ну, теперь так жизнь поменялась... А когда-то, ох! Хорошо мы жили! Да если бы такую закуску тогда достали, Вань, вспомни, так это ж какой бы праздник был ба!

– Ты Герпеля помнишь? – неожиданно для самого себя спросил Сиротенко.

Бутылка, занесенная над стаканом, застыла, и Фёдор, покачав вниз-вверх головой, произнёс как-то торжественно и тихо:

– Из наших Абрама Матвеича все помнят.

– Снится он мне стал чего-то...

– А он давно помер! – с удивлением сказал Фёдор. – С чего бы вдруг?

– Не знаю! Тут такая, понимаешь, ситуация получилась запутанная...

Он посмотрел на Фёдора, как бы оценивая: стоит ли говорить, и начал всё по порядку. Он замолчал только на несколько секунд, когда они чокались и выпивали...

– Я тебе, знаешь, Вань, что скажу, – прервал молчание Фёдор, когда Сиротенко закончил и сидел понурившись, – в России, чтоб ты знал, всё всегда поперёк выходит. Как только начинается гладко – жди беды, а когда поперёк – нормально!

– Это ты, что ли, такой закон вывел?

– Да хоть бы я! На ком всё держится? На интузьястаххх! Понял? – они уже оба порядком захмелели, говорить стало легко и просто. – И никаких исключений! Вот возьми примеры! Хоть тебя! На хрена тебе всё это надо? Берут мальчишку – вперёд! Небось, и денжат тебе подкинут за содействие! Да ты не тушуйся, в России всё так! Не подмажешь – не поедешь! А ты вот мучаешься, совесть свою пробуждаешь, как там у Пушкина? Чем он любезен там народу? Ты знаешь, я сам стихи писать стал! Вот на хрена, спрашивается? Хошь, почитаю?... Не, ну это потом...

– А почему Герпель снится? – встрепенулся Сиротенко.

– Вот это классный вопрос! Это правда... Он хоть и еврей, конечно, но всё равно русский, потому что тоже был интузьяссс! Ну, без этого никак, Вань, ты пойми, эти же держиморды, которые руководят, они ж не могут... А ты можешь... Если пацану отец нашёлся, Вань... Ты вспомни, вспомни! Ты за этим, что ли, ко мне пришёл? Спросить? Я теперь догадался! Да ты вспомни, если ба тебе или мне, или хоть кому из наших сказали, что его отец заберёт, да хоть какой, хоть пьянь, навроде меня! Ты что, Вань, забыл? Как ба мы побежали?! А так что?

– Что? – Сиротенко тяжело облокотился на стол и придвинул своё лицо близко к Фёдоровому. – Что, Федь?

– Вань, ты из нас один выбился... только... а другие... сам знаешь... Кого нет уж на свете, и не знает никто, где лежат они, а другие, если живы, через такие муки прошли из детдома необученными и голыми выпущенные... Нельзя быть в России сиротой, Вань! Не приведи Господь! Не мучайся ты... И Герпель ба не мучался... А он бы и тех двоих-то близнецов твоих тоже не разъединял, и тожа отправил отсюда, куда подальше... Пускай хоть в Америке твоей, а людьми станут и по-человечески жить будут.

Сиротенко выслушал, тяжело вздохнул и понурился.

– Ты знаешь, – Фёдор ритмично замахал указательным пальцем перед лицом товарища, – что я тебе скажу? Правда, Ванька, я только одному вот завидую тебе...

– Чего мне завидовать? – возразил Сиротенко.

– А тово, что ты можешь доброе кому-то сделать, а я нет... Только озлобился я так за все годы! И не выбился... ни добра от меня, ни... ни хрена... пыль одна... и вонь...

В храме было гулко и прохладно. Том машинально вставал, опускался на колени на бархатную подставку и снова садился на скамью, но взгляд его неизменно тянулся вверх – к стрельчатым окнам, светящимся синим и красным.

«Так же соединяет Он людей на земле, как эти цвета в розетке...» – звучащие слова, которые он привычно повторял со всеми, ничуть не мешали его мысли.

Тяжёлая тревога угнетала Тома последние дни, и он пришёл молиться в надежде на облегчение, разрешение непонятного чувства. Никакой анализ: «Отчего это?», никакие самоугоры: «Всё будет хорошо!» – не помогали. Он с увлекающей надеждой пошёл в храм, но облегчение не спускалось к нему с небес. Он никак не мог сосредоточиться на молитве, как обычно, произносил затверженные с детства слова и думал совсем о другом.

«Какой силой воображения надо обладать, какие программы заложить в каждого, чтобы соединять и разводить людей? Какие алгоритмы устанавливают порядок в мире? Вон в той мозаике одно стёклышко повернуто случайной чужой силой под другим углом, и весь рисунок сбивается, и взгляд цепляется именно за эту шероховатость несовершенства, где свет идёт не по принуждённому закону, а вольно пробивается в щель совсем другим цветом, и тоненький жёлтый лучик чётко и стремительно обозначает свою дорогу пыльным светом и ударяется в гладкую стену напротив... Вон он дрожит и отвлекает взгляд, и нарушает гармонию...»

Том чувствовал, как сам увлекается этим лучиком и вроде бы видит себя со стороны.

«Никогда прежде я не рассуждал так возвышенно! – он внутренне усмехнулся. – Что со мной творится вдруг, что вообще происходит со мной? Может быть, я, как этот лучик, пробился в совершенно случайное отверстие, пошёл не как все и не со всеми? Но разве плохое дело я начал? Разве это не угодно Ему? Разве не искренне и не с открытым сердцем я жду этого малыша в своём доме, и разве он уже не пришёл в него? И может быть, одним несчастным станет меньше на свете? Откуда эта тревога? Почему все клеточки, составлявшие мою жизнь, сдвинулись? Может быть, потому что я эгоист и по своему капризу строю свою жизнь и заставляю других подчиняться и тоже перестраиваться? Ну, кто ответит? Как уйти от этого? Вот говорят „сердечный трепет“, а я его чувствую просто физически: что-то колеблется вот тут...»

«Agnus Dei, qui tollis...» – заполнило всё пространство до самых вершин сходящихся стен. Звук упруго выливался из горловин матово блестящих труб, отталкивался от каждого выступа, от светящихся витражей и наполнялся цветными глубокими обертонами. Не было ни уголка, ни трещинки, в которые бы он ни проник, он вливался в каждого со вдохом и возвращался с выдохом: «Agnus Dei, qui tollis peccata mundi miserere nobis».

Том почувствовал сначала невероятную тяжесть, которая, по мере движения плавного всеохватного звука, становилась невыносимой, непреодолимой, и вдруг его подняла на своём гребне мелодия, он ощутил слёзы, катящиеся из глаз и уносящие с собой всё: тревогу, тяжесть, неосознанный страх, боязнь за близких, сомнения и смущение... И на месте уходящего оказывалась не пустота, а невероятная радостная лёгкость, светящаяся и беспредельная.

«Агнец Божий! Значит, всё правильно, значит, все мы приносим жертву не напрасно, приобретаем, отдавая! Значит, всё будет хорошо! Всё хорошо будет!»

Он впервые за время мессы перевёл взгляд на Дороти и своих девочек и понял, что они чувствуют то же самое. И им, как ему, необходима была эта молитва и очищение, и они стали ближе друг другу.

Пашка возился у шкафчика в раздевалке. Он хранил тут все свои богатства в узкой полочке под обувью. Туда едва пролезала его ладошка. Сначала он вытащил открытку с мед-

ведем, держащимся одной лапкой за гроздь воздушных шариков: земли под ним не было видно, но понятно, что улыбающийся толстячок висит в воздухе. Пашка получил её в подарок на день рождения вместе с прозрачным пакетом, в котором лежали конфеты и печенье. Всё это давно съелось, а медвежонок всё парил и улыбался, и улыбался... Углы картонного квадрата закруглились, обтрепались, и шарики стали не такими яркими, но они всё же держали Мишку... Мишаньку... Мишику... Пашка его очень любил и берёт. Сколько уж раз ему предлагали за этого Мишку и конфету, и компот – он не соглашался. «М-г, м-г», – происносил он закрытым ртом и мотал головой из стороны в сторону.

Потом он вытащил голубую пластмассовую машинку. У неё не было колёс. Вообще. Зато сквозь затянутое прозрачное окошко виделся руль. Теперь, если представить, что Мишка привязал шарики к забору, а сам сел за руль и поехал, то можно с ним прокатиться. Не поедет же его Мишка без него – Пашки! Это же его Мишка! А раз у машинки нет колёс – она вездеход и запросто проползёт по любому снегу, где даже самосвал застрянет и забуксует...

Можно прокатиться здесь, во дворе, с горки, и Сашка не будет дразнить его «раззява» и замахиваться, потому что он не успел убраться с дороги в самом низу... А можно прямо на Северный полюс... И никто его не догонит... Можно с Зинкой – тогда совсем не страшно...

После этого из самого дальнего угла он вытащил старую смятую гайку, но она была жёлтая, наверняка золотая, и её можно было расплавить и получить много денег... А на эти деньги... Тут Пашкино воображение заходило в тупик, потому что он не знал, что сколько стоит, а кучу денег представлял в виде огромной сверкавшей горы, из которой монеты надо накапывать лопатой и насыпать в мешок.

И сколько мороженого можно купить на эти деньги! Или лучше жвачки... А потом выдувать ртом пузыри, чтобы они лопались... Только нельзя, чтобы мамы видели, а то отберут и самому попадёт... Жвачку в доме нельзя... она ко всему прилипает... жвачку не разрешают...

Пашка услышал сзади шаги, неожиданно быстро встал на колени, прижал богатства к животу и полуобернулся.

Сзади показалась Зинка.

– Я ищу тебя, а ты не откликаешься!

Пашка медленно осел и всё не отнимал руки от живота.

– Чего прячешь? – строго спросила Зинка.

– М-мг... – мотнул головой Пашка.

– Покажи! – Зинка рукой медленно оторвала одну Пашкину руку и разглядела угол открытки. – Мишанька, что ли? Дай посмотреть!

Пашка отодвинул вторую руку, и открытка оказалась у нее. Она положила её на вылинявшее бумазеевое платье, покрывавшее ногу, разгладила ладошкой, будто стряхнула пыль, и уставилась на Пашку.

– Собираешься?

Пашка понурился и промычал:

– М-кг... – что вполне могло означать и да, и нет.

– Что-то долго не едут... Может, вообще не приедут... Вовсе...

Пашка смотрел на неё испуганными глазами, и слёзы сами собой покатались по щекам.

– Чего ты! – испугалась Зинка. – Я просто так... бывает же... Может, они передумали... Нет... Наверно, денег на билет не хватает... Это далеко лететь, а денег мало...

Пашка дёрнулся и хотел перебить Зинку, потому что у него в руке золотая гайка, и если её расплавить и сделать кучу золота, то может, этих денег и хватит... Он уже так привык думать, что за ним приедет большой дядя и тётя, и девочка Кити, он уже даже во сне их сегодня видел... И вот сейчас пошёл посмотреть на свои богатства, которые им подарит... Даже Мишику, Мишаню... А тут... Он смотрел на Зинку и слёзы снова покатались по щекам...

– Какой ты, Пашка! Я только так сказала, а вовсе не потому, что не приедут... Раз обещали, значит, приедут... Зачем им не ехать? Они же один раз приехали... Просто я думала, они много денег потратили на игрушки, на мороженое и им сразу на билет не собрать, а вот наберут и приедут.

И тут Пашка не выдержал:

– Я им гайку подарю!

– Зачем? – Зинка даже оторопела.

– Она золотая! Видишь! – Пашка показал на посверкивающую царापину на жёлтой грани.

– Золотая? – усомнилась Зинка.

– Золотая! – подтвердил Пашка. – Только ты никому не говори, а то Сашка обязательно сопрёт.

– И ты её отдашь?! – изумилась Зинка.

– Отдам! – легко согласился Пашка. – А то так денег ни за что не хватит...

– Правильно! – обрадовалась Зинка. – А если останется сдача, они тебе ещё мороженого купят и синие такие штаны, как у Кити были, называются джинсы, и ещё картошки и с салом нажарят...

– Я тебя обязательно позову, Зинка, ты не думай! – Пашка забрал у неё из рук гайку и торопливо стал прятать все сокровища в щель под полочку, на которой торчали ботинками с облезлыми мысками и сбитыми каблуками. – Не веришь?! – вдруг обернулся он.

Но Зинки уже не было рядом.

Мелькнула в дверном проёме её спина, втянутая в сведенные плечи голова. И Пашке показалось, что она тихо плакала.

Скандал начался сразу, как только Трындычиха утром вошла в спальню и почувствовала, проходя мимо кровати Кучина, запах мочи. Она остановилась, сморщила нос, посмотрела на съёжвшегося под протёртым суконным одеялом мальчишку, и гримаса отвращения и ненависти передёрнула её. Одной рукой она выхватила из постели маленькое тельце и молча поволокла за собой. Две морщины, как две канавки, на переносице и вдоль всего лба врезались в Васькино лицо. Ноги его чуть доставали до пола, он летел по воздуху, хрипло попискивая от страха и нестерпимой боли в запястье и плече.

Стайки ребят, ещё полусонных, кидались врассыпную и прилипали спинами к стенам. Наконец, из мальчишечьего горла вырвался отчаянный вопль. Трындычиха от неожиданности затормозила, обернулась на орущего, и тут к этому крику присоединился другой – отчаянный, протяжный, перегораживающий дорогу. Посредине коридора стояла Нинка, в застиранном бумазеевом платице серого цвета с когда-то розовыми цветочками, похожая на мухомор с чешуйчатой ножкой. Она орала, срываясь на сип от перенапряжения голоса:

– Не-е-ет! Не-е-ет! Не-е-ет!

Трындычиха, обернувшись, опешила и смотрела на неё несколько мгновений, потом отодвинула рукой в сторону и сама, наконец, подала голос:

– Все вон отсюда! – и понеслась дальше по коридору со своей добычей.

Что произошло в мгновение за этим – понять трудно, но в результате теперь громче всех орала сама мучительница. Ваську она машинально всё ещё держала в левой руке, а правой трясла, что было силы, и чем сильнее встряхивала, тем сильнее орала от боли! На её указательном пальце висела Нинка, мёртвой хваткой сомкнувшая челюсти. Она не могла их разжать, при каждом рывке в её шее что-то хрупало, и боль волной скатывалась к пяткам, она рычала, слюна заливала ей горло...

Через несколько секунд Нинка свалилась на пол, Трындычиха впихнула Ваську в туалет, повернула ключ, бросила его себе в карман и ринулась в кабинет медсестры – кровь заливала её толстую руку... За бурей последовала невероятная, казалось невозможная, тишина, и людей в доме будто стало меньше...

– Что случилось? – спросила Наталья Ивановна, когда едва переступила порог и наткнулась на Дусю. Нянечка всхлипывала и не могла ничего произнести, она комкала платок у полуоткрытого рта и, казалось, хотела его проглотить...

Когда кое-как всё выяснилось, директриса кинула на ходу: «Попросите Галину Петровну ко мне в кабинет!» – но, обернувшись, поняла, что самой надо искать виновницу скандала.

Трындычиха неожиданно вывалилась навстречу с перевязанной рукой. Наталья Ивановна, не глядя, развернулась и направилась в свой кабинет. Сзади неё, не попадая в такт, раздавались грузные шаги Трындычихи.

В кабинете, когда они оказались стоящими по разные стороны стола, Наталья Ивановна задуманным голосом выдавила: «Ключ!» – и хлопнула рукой по куче папок, лежащих перед ней. От резкого звука обе женщины вздрогнули.

– А вы знаете, как эта паршивка...

– Ключ! – ещё тише прошелестело в кабинете и следом громово ударило: – Ключ! И вон отсюда! Чтоб вашей ноги больше тут не было! Вы или я!

– Я! – заорала в ответ Трындычиха и запустила ключом в стол.

Наталья Ивановна невольно отшатнулась, подалась вперёд, чуть согнувшись и набычившись, уставилась взглядом в пол и сквозь зубы выдавила:

– Вон, сука! Вон! А то я сейчас... – она медленно подняла взгляд, но в кабинете уже никого не было.

Дуся заглянула, поманенная пальцем, вбежала, схватила ключ и ринулась вон.

Теперь Наталья Ивановна сидела одна за столом, навалившись на его ребро грудью. Сердце колотилось, не хватало воздуха, в глазах бегали какие-то чёрные мурашки, и она никак не могла моргнуть.

«Боже! Зачем мне всё это надо?»

Романтика давно выветрилась из неё. Ещё совсем недавно она мечтала, что поедет в провинцию, в какой-нибудь заштатный детский дом и начнёт работать, работать, чтобы самой видеть, как всё меняется к лучшему, чтобы «улыбки радостно цвели» и было «счастливое детство», как она пела сама ещё совсем, кажется, недавно, девочкой, и верила, что это так будет... Потом, что это должно быть... Потом, что надо самой это делать – она же педагог с высшим столичным образованием! А дальше постепенно всё слабели «крылья песни», она опускалась на землю в страдания сиротства, обездоленности, безысходности. И те, кто мечтал, как она, уже успокоились и смирились. А те, кто грел руки на святом деле, приспособились и притаились...

«Сколько из нашей группы остались работать с детьми? Никто! – ответила она сама себе. – Никто... А теперь и подавно... Всё рушится, всё меняется неподвластно и неудержимо... Когда эпоха на переломе – плохо всем, но у одних хватает мужества хотя бы попытаться не поддаться мутному потоку, а других несёт по течению, и они сами стремятся ещё вперёд вырваться, воспользоваться его силой, отчего поток ещё стремительней и непредсказуемей... Зачем? Зачем мне всё это? А что я умею? Я больше ничего не умею, то есть вообще ничего не умею, выходит... И как жить? И зачем? Мне не одолеть её... Она права, когда уверенно кричит: „Я!“ И что делать? Хоть одного спасти... Забрать этих двух несчастных – вот и семья будет, и бежать отсюда – от этого ужаса, от одиночества и от самой себя! Мне не одолеть её... не одолеть...»

Ей стало жалко себя, так жалко! Слезы сами собой тихо катились из глаз, и, так же как у Дуси, невольно приоткрылся рот, перед ним оказался мокрый скомканный платок, она прижимала его к губам, как все русские бабы, будто не хотела выпустить рвавшиеся наружу рыдания!

Снег ложится на землю. Тысячи миллиардов снежинок. И никто не знает и не задумывается о судьбе каждой из них. Которая раньше растает, какая позже, почему?.. Придёт тепло, и все они изойдут водой.

Сотни, тысячи детей рождаются на земле одновременно, неизвестно что им уготовано, когда они окончат свой путь. Но есть на свете близнецы. Их таинственная связь многократно замечена, но не объяснена, а порой мистически интригуяща. Разлучённые, даже потерявшие из вида друг друга, они чувствуют свою кровную половину на любом расстоянии. Болеют в одни и те же дни, женятся одновременно, даже не зная об этом! В их семьях одинаковое количество детей! Если один из них попадает в беду – другого охватывает беспокойство, ему становится тревожно, нестерпимо плохо. В уставах многих армий записано, что разлучать близнецов запрещено! Они служат вместе, в одном подразделении, всегда выполняют одни те же задания, и, случалось, один выживал только благодаря тому, что второй пришёл на помощь в критическую секунду, оказался рядом. Да и по неписаным законам разлучать близнецов – грех!..

А события, происходящие независимо и вдалеке друг от друга, часто лишь по прошествии времени становятся близнецами, благодаря своей одновременности и обнаружившейся связи.

К приезду гостей всё было готово. Назначенный день ожидали с нетерпением, каждый по своей причине. Медленно соображавший Пашка – потому что под влиянием разговоров с Зинкой всё больше привыкал к мысли, что у него теперь есть папа, мама и сестра Китти. Он хотел скорее их увидеть и подарить им свои самые дорогие вещи, и поехать с ними туда, где они будут вместе жить, кататься с горки, есть жареную картошку. Сколько хочешь! И мороженое! Ирина Васильевна – потому что стремилась поскорее устроить Пашку, которого все они любили, и чтобы никакие розыски и нововведения не помешали этому счастливому событию. Вилсоны – потому что почувствовали, что уже скучают по мальчишке, которого видели всего неделю, но успели полюбить, и который, фактически, уже жил с ними в их семье, в их доме. Они всё время обсуждали, как он будет учить язык, в какую школу его отдать, как они вместе будут показывать ему любимые места: рыбалку, пиццерию, парк Брук Дейл с новым футбольным полем; как они поедут покупать ему одежду; как летом отправятся на океан на Сенди Хук и вместе будут прыгать на волнах; или на целый день в аквапарк и кататься с высоченных водяных горок, а может, на сафари... Без него уже не обходилось ни одного разговора!

Незадолго до прилёта американцев Сиротенко позвонил Волосковой.

– Приезжайте! Поговорить надо! – и она решила, что это удобный случай высказать всё напрямую по поводу её тревог и его нововведений, но он опередил: – Ирина Васильевна, а я-то как в воду глядел!

– Вы о чём, Иван Михалыч? – сердце её ударило не в такт, предчувствуя что-то неприятное.

– Дак, вот выходит, что проверять-то надо... У мальчишки вашего родственники объявились! Ближайшие!

– Отец, что ли? – спросила она с досадой и ехидно.

– Не-ет. Не отец, да и был ли он?! – шутка не получилась. Волоскова молчала. – В другом детском доме близнецов проверяли, и выходит по всему, что одна мать у них.

– У близнецов? – опять ехидно отпарировала Волоскова. Она будто оборонялась.

– Ирина Васильевна! – вразяжку произнёс Сиротенко. – Ирина Васильевна, у близнецов-то одна мать, но, выходит, и у Леснова Павла она в матерях числится. Так вот...

– Зойка? Не может быть... – откликнулась она упавшим голосом и почувствовала, как дурнота подступает к горлу. – Иван Михалыч...

– Ну, что, Иван Михалыч, – досадливо прозвучало в трубке. – Приезжай, поговорим, – он помедлил и добавил переходя на «вы» и официальный тон: – Вы ж хотели поговорить! Начистоту – правильно догадываюсь?! – голос его опять смягчился. – Можно сегодня, хочешь завтра... Нет, завтра не могу...

– Сегодня, – решительно перебила Волоскова. – Хотела поговорить. Сегодня. Обязательно.

«Боже мой, – думала она по дороге, – от чего зависит судьба! Что он там выкопал, этот Сиротенко? Какие бумажки и справки? Наверное, ошибка! А если бы они вообще возникли на неделю позже, когда Пашка уже уехал? И что теперь делать, что делать? Раз вызывает – бумаги не подпишет... Нет! Всё, что угодно... Господи...»

Мысли так путались, что она не могла логично рассуждать. Какая-то лавина чувств, соображений, доводов, приходящих на ум нелепых уловок – комок! Ком! И она в самой середине, опутанная всем этим, когда уже не видишь, что по сторонам, и начинаешь делать глупости, потому что не соотносишь из-за слепоты поступки с последствиями... не можешь соотнести...

«Всё, что угодно, но Пашка уехать должен!» – решила она твёрдо уже в самом конце недолгого пути в город.

Зато разговор получился долгим, трудным. Сначала коротко в кабинете, потом в кафе, где можно было не оглядываться, а в конце, полночь, в квартире Сиротенко.

Ирина Васильевна не хотела идти, мол, неловко, поздно, но Сиротенко взял её под руку и молча повёл: «Тут рядом! А жену беспокоить не будем – чаем сам обеспечу!» Разговор действительно был не как начальника с подчинённым, но двух людей, попавших в тупик лабиринта и не находящих выхода, который им обоим необходим.

Настал момент, когда Ирина Васильевна решилась. Она говорила коротко, резко:

– Если правила придерживаться, не разрывать семью, не отдавать Пашку – скандал! Агентство на дыбы встанет: деньги уплачены и потрачены, люди приедут! Как им объяснить всё, если не сказать правду? А если сказать, то как повернётся язык произнести: «Не разрывать семью»?! Намекать на что-то? А детские дома-то, которые с этой программой связаны, только-только чуть поднялись, телевизоры цветные купили, приобули ребят, приодели... А если не отдавать Пашку, кончится ручеёк, что оттуда к нам бежал, – она мотнула головой куда-то назад. – Он уж второй раз, если потечёт, то по другому руслу. Желающих много откликнется... А Семён найдёт? Стоит ли жертв таких?

Сиротенко сидел, опустив голову, и слушал, не перебивая.

– А случай помните совсем недавний, в соседней области? Ситуация очень похожая. Приехали тоже американцы, посмотрели девочку, которую еще заранее выбрали, и во время визита вдруг мальчишку себе приглядели и решили его тоже усыновить! Всем объявили, и мальчишке, конечно! Стали тут готовить документы на обоих. Улетели будущие родители, а когда прибыли они во второй раз – за девочкой, мальчишку брать отказались. Сами отказались. Почему? Ничего объяснить толком не могли. Обстоятельства, мол, изменились, да дорого... Их уговаривали, совестили, да силой-то не заставишь! И улетели с одной девочкой, без него... А мальчишка, мальчишка-то поверил, что у него есть отец с матерью! Что ему доводы всякие! Из окна выпрыгнул, не перенёс обмана... Кого винить, что не уследили? Да разве за душой уследить можно?! И что получается теперь? Пашку не отдавать? Как ему в глаза смотреть? Как жить с ним рядом и чем потом лечить его уже однажды искалеченную душу? А с прилетевшими как быть? А что объяснить агентству? Да, боже мой! Кто с нами вообще после этого захочет иметь дело?!

– Верно всё, Ирина Васильевна! Верно, – Сиротенко теперь смотрел ей прямо в глаза, он даже подвинулся к столу и упёрся в него грудью. – Должок у меня есть один, тоже ручеёк такой, только невидимый, хрупкий, а на нём всё держится. Вся жизнь моя... И другого, кто за мной... И дальше... В посёлке у нас, где я в детском доме рос, врач был – один на всю округу, на выселках. Отбыл своё, чудом жив остался, вышел на волю, а вернуться не захотел обратно. Почему – не знаю. Мы ж ещё мальчишки были, совсем сопляки, и война, жрать нечего. А и обворовывали нас ещё. Всё, как положено. Тащили кто что мог, – Сиротенко замолчал и сглотнул. – У нас большинство-то были дети врагов народа, у кого отец, у кого мать, у кого – оба. А он спасал нас, в больницу клал... Да, и больница-то – одно название, а всё же. Диагноз: дистрофия, и всё тут. По очереди клал и подкармливал там. Если б не он – е-ге! Почему он это делал –

тоже не знаю. И никто не знал, и не знает. Рисковал, конечно, могли припаять ему, что он будущих врагов народа выхаживает. Да, видно, то спасло, что других-то вокруг не было! Мы ему, конечно, «спасибо» и обратно в детдом. С сожалением, правду сказать... Да что ему «спасибо»! Он за спасибо, что ли?! Или из высоких гуманных чувств, вообще?! Я думаю теперь – тогда и вовсе не думал – думаю много лет уж: он долг отдавал кому-то. Вот и всё. Что спас его кто-то в жизни или близких его, а он отработывал... Ты не суди, что я грубо так. Слово высоких столько понаслушался за жизнь свою, что у меня они из всех дырок прут, а всё никак не кончатся...

Волоскова сидела, сложив по-бабьи руки на коленях, не стеснялась, что плачет, и не вытирала слёз.

– Я тебе почему сказать могу? Ты сама при детдоме всю жизнь, считай. Я ещё мать твою помню, только сам тогда не имел прямого отношения к этому делу. А теперь в демократию двинулись, и чувствую, что я ещё за свой должок не расплатился, да и за ребят мне наших тоже придётся. Он-то всех спасал, да жизнь после, видно, пропустила мимо дела его, не знала этого... Тут мой однокашник есть, давно не виделись, вспоминали мы с ним всех, да мало кого в живых зачислили. А большой был детский дом, много тогда сидело. Да России людишек никогда не жалко! Вот и полез я в эту комиссию... Мне бы о душе уж думать, а я всё пашу, пашу. «За себя и за того парня» – это верно поэт написал.

– А доктор-то ваш что же? – подтыкая ноздри скомканным платком, спросила Волоскова.

– Доктор? – Сиротенко замолчал и только жевал губами. – Доктора больше нет, – вздохнул он. – Давно уже. Да... Он свой век не дожил. Мне-то он тогда казался старым, а ему, выходит, по моему разумению, чуть за тридцать перевалило в те годы. Седой был весь, и на лбу грядки – огород сажай. Ну, это другая история. Их много, историй, жизнь длинная всё же. Вот теперь ещё одна история. И что делать – не знаю...

Волоскова вздохнула. Ей уже не казались убедительными её доводы, и вообще хотелось спрятаться куда-нибудь и ни о чём не думать.

– И понимаешь, – перебил её мысли Сиротенко и безнадежно махнул рукой, – чёрт его знает, может, сам виноват: прошло бы тихо – и всё...

Ирина Васильевна снова встрепенулась и подалась ему навстречу:

– Иван Михалыч! Дорогой! Ну начните с другого, со следующего. Ну могут же опоздать бумаги на неделю? Пусть Паша летит с Богом, если свой билет лотерейный вытянул, – она замолчала, чувствуя, что говорит в пустоту.

– Был бы я помоложе, – Сиротенко посмотрел ей в глаза, – всех бы троих взял. Лечил бы, выхаживал. На них много труда надо. Мамаша им такого в организм напустила! Да не хочется их второй раз сиротить, не имею я права... Может, им подфартит ещё... – оба они замолчали надолго.

– А ведь я, – она опустила глаза, – давно хотела Пашку себе взять. Как увидела, сразу... И тоже испугалась, как вы.

– Я не испугался, – спокойно возразил Сиротенко. – Я просто посчитал. Я считать умею. Знаешь, сколько мне лет выйдет, особо если те, детдомовские, числить год за два?! Сказать страшно... Да и правда, что там-то, за океаном, ему лучше будет. Крикунов бы этих, что орут: «Россия детьми торгует!» – пустить бы посмотреть на счастливое детство!

– Ну, – снова встрепенулась Волоскова, – так зачем рубить сук, на котором все сами сидим?!

– Рубить не надо, согласен. Да вот, как сберечь, не знаю...

Ночь лежит над огромным пространством земли. Трудно окинуть даже мысленным взглядом, как она велика, но вовсе невозможно представить, сколько боли и радости, ликования и мучений скрывает её темнота. Самое большое счастье приходит к человеку, когда никто не видит, и уходит он в мир иной под ночным покровом. Озарения великих открытий

ярко вспыхивают в темноте, и огромные силы разрушений начинают действовать в чернильной ночи. Сколько людей проклинают и благословляют её, сколько сердец восхищаются ею, и сколько бегут от неё прочь!

Для каждого живущего у неё своё лицо, своя душа и свой цвет. Поэтому столько раз она воспета художниками и столько раз повергнута ими. Человеческий разум нашел возможность избежать её: стоит лишь сесть в самолёт и лететь всё время на запад вместе с солнцем, так чтобы ночная тень была всё время чуть позади.

Том и Дороти летели в обратном направлении над белоснежными тысячами облаков навстречу розовому надвигающемуся пространству...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.